

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

РАССКАЗЫ



Александр Серафимович Серафимович

Скитания

В рассказах дооктябрьского периода автор показывает отчаянное положение трудового человека, зажатого в тиски капиталистических отношений, вскрывает социальные и экономические причины эксплуатации человека человеком, а в ряде рассказов советского периода показывает пробуждение масс к новой жизни в процессе строительства социализма.

Содержание

У ХОЛОДНОГО МОРЯ	0005
В НОМЕРЕ0082
СКИТАНИЯ0112
СТРАННАЯ НОЧЬ	0176
МЫШИНОЕ ЦАРСТВО	0213

Серафимович Александр
Серафимович
Скитания

У ХОЛОДНОГО МОРЯ

Нас было шестеро.

Высокий, черный, с острой бородкой клинком, в мягкой шляпе, очень похожий на француза или на итальянца, бывший студент технологического института. Красавец — и когда пел басом, под окнами толпой собирались слушатели.

Небольшого роста, коренастый, рябой, с серыми глазами, в которых искрились задор и насмешка, рабочий, ткач, с одной из фабрик центральной России. И у него жена — простое круглое лицо. И когда на нее смотришь — на душе просто, спокойно и ясно. Если б мужа вели на казнь, она пошла бы вместе в петлю так же просто и спокойно, как шла развешивать белье на дворе или в кухню готовить на всю нашу братию обед.

Четвертый — барин, с тонкими, аристократическими чертами, всегда корректно, изысканно одетый, необыкновенно изящный, человек с огненной речью, но сквозь очки глядели крохотные, подслеповатые, почти свиные глазки, и это портило красивое лицо. Мы

звали его Патрицием.

Пятая... что сказать? Коса по спине, карие глаза, стройно охватывающий кожаный пояс. Как часы таинственного мастера с чудесной мелодией и с маятником, на полувзмахе остановившимся. Куда-то мимо нас глядела она со спокойно-невозмутимым лицом, куда-то мимо той жизни, которою мы жили. А может быть, никакой и мелодии не было, и мы напрасно ждали, — все равно маятник был неподвижен, и мы ничего не знали.

Да и все мы — как остановившиеся на ходу часы. Наши сердца, мысли, чувства оборвались, замерли, когда нас вырвали из родной обстановки, из родных городов, от семей, от деятельности, от милой товарищеской среды, от всего уклада торопливой, молодой, бурливой жизни. Мы ходили, смеялись, работали, бывали и столкновения, мирились, но все это было пока, временно, точно настоящее остановилось, замерло под слоем повседневных неизбежных мыслей, забот и дел, замерло в молчаливо-напряженном ожидании, когда снова пойдет качаться маятник настоящей, цельной, полной жизни.

Шестой...

Шестой — это я

В моих жилах несомненно течет древняя скифская кровь. Иначе отчего же я так тоскую по милым степям, без предела и границ раскинувшимся в сухой и жаркой дымке, кругом облегающей? И небо так же без предела и границ раскинулось, подернутое неуловимо-сухой, горячей дымкой.

Да, скифская-то скифская, но когда я гляжу в зеркало, оттуда глядят на меня широчайшие скулы самого недвусмысленного татарского или калмыцкого происхождения и расевшийся между скулами необузданных размеров нос. И я, сдвинув брови, отворачиваюсь от зеркала — нет, никогда никто меня не сможет полюбить.

Я отворачиваюсь и иду работать — у нас столярная мастерская. Визжит пила, свистит рубанок, но без песен сумрачно, и обыкновенно за работой мы наперебой заливаемся, как чижы. Или, подымаясь к себе на чердак, который почему-то все звали мезонином, где моя комната, и, заперев двери, тайно пишу, а чаще подхожу к окну и сумрачно гляжу в туск-

лые стекла.

Отсюда виден весь громадный город — в нем полторы тысячи жителей, одна улица, два переулка и густо и сочно поросшая травой площадь, и он весь — из старого, прогнившего дерева. Деревянные провалившиеся, почернелые крыши, почернелые срубы домов, деревянные с выпавшими досками тротуары, деревянная колокольня, темненькая церковка, потемнелый деревянный острог.

Точно старый, проросший, обомшевший черный гриб.

А за городом могучая северная река несет полные воды и верстах в двадцати смешивает с тяжелыми холодными водами океана.

Оттуда приходят к нам косматые метели, оттуда дышат даже иногда летом морозы — и осыпается листва, и никнет побелевшая трава.

И океан, тяжело вздымаясь изо дня в день, стихийно дышит. Дважды в сутки вздымается он, неизмеримый, и шумные воды буйной толпой устремляются вверх по реке, — река несется всей массой воды от устья к истокам своим, затопляя и переполняя берега, как в

половодье. А через шесть часов спадает грудь гиганта, и с неохватимой скоростью устремляются воды в океан, а по реке обнаруживаются мели, топи, песчаные косы до следующего вздоха. Так каждый день, годы, века, так тысячелетия от мироздания.

По ту сторону реки — угрюмо темнеющие леса, без конца и края, без человеческого жилья, лишь холодные болота под низко, сумрачно нависшими мохнатыми ветвями.

По эту сторону — от века молчащая под вечно холодной, сырою мглой тундра...

Нет, никогда меня никто не полюбит...

Все равно, как бы там ни было, когда мы собирались, шел оживленный разговор, рассказывали, читали, спорили. Два раза в неделю кто-нибудь бегал на почту, притаскивал ворох газет, и за чаем читали вслух. Потом расходились по своим комнатам или работали в мастерской.

И каждый по-своему. Наш «француз» набрасывался на все горячо, с азартом. С визгом ходил рубанок, сыпались из-под пилы тучи опилок, резко летела под ударами щепы из-под стамесок, стон стоял в мастерской. Фран-

цуз был страшно серьезен, сосредоточен и терпеть не мог, когда ему мешали. После всеохватывающей страстной работы оказывалось, что дыры пробиты не там, где нужно, шипы поотпилены, доски поколоты и никуда не годятся. Рубанок, пила, стамески летят в разные стороны. Француз взволнованно кричит, что это черт знает что такое, волнуется и кричит так, как будто все кругом виноваты, а не он; и товарищи, посмеиваясь, мягко уговаривают, как будто действительно виноват кто-то другой. Француз все забрасывает, идет к себе, заваливается на кровать и начинает читать без отдыха напролет дни и ночи.

Патриций работал по-аристократически. На юридическом факультете, откуда он был изъят, не преподавалась ни одна из наук ремесленного труда, и тем не менее он работал артистически, но все внимание, всю энергию направлял на безделушки. И за работой изысканно и безукоризненно одетый в противоположность нам, лохматым, в золотом пенсне, он целыми днями возился над какой-нибудь шкатулочкой или резной полочкой. Сделает, поставит на высоком месте и любуется дей-

ствительна тонкой, артистической работой, и нас подводит и заставляет любоваться, а потом отдыхает и читает свои многочисленные книги по юридическим и общественным наукам.

Я работал на совесть и брал трудные и новые работы. Выучился хорошо делать изящные стулья, научился прекрасно клеивать фанерой, шлифовать, точить на токарном станке, но как только овладевал новой работой и приобретал навык и практику, работа становилась постылой, и я искал другой. А так как новизны было мало, то я уходил к себе в мезонин, где тайно писал.

Женщины в мастерской не работали.

Оставался Основа. Его хриповатый, козлиный и необыкновенно сильный тенор с утра и до ночи в стуке, визге и громе инструментов носился по мастерской:

*Услы-ша-ли та-та-ры,
Ну, ду-ма-ют, не трусъ,
На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!..*

Голос его так отчаянно-заразительно разносился по мастерской, что мы не выдержи-

вали и дружно подхватывали:

*...На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!*

А когда всех покрывал великолепный бас Француза, под окнами останавливались слушать импровизированный хор.

Но петь-то все пели, а работал почти один Основа, между тем заработок мастерской составлял около сорока процентов нашего общего бюджета.

Странные отношения у нас с ним были. Мы все его горячо любили и искренно ценили. В мастерской он у нас был царь и бог. Бывало, напорешь чепухи, изведешь лесу, который, конечно, стоил денег, и стоишь в недоумении и отчаянии над каким-нибудь комодом, который похож не на комод, а на беременную свинью.

Основа быстро вскинет серыми глазами, как будто невзначай — подойдет, мягко возьмет пилу или рубанок:

— Нет, тут вот, видите, немножко нужно подрезать...

И подрежет, спилит, подгонит — глядь, а

уж это не свинья, а настоящий комод. И все это мягко, любовно, незаметно, точно все это ты сам сделал, а не показывали, не учили тебя.

И все-таки стоишь перед ним дурак дураком. Ткач он был по профессии и, когда прислали сюда, рубанка не умел взять в руки. Через три-четыре месяца это был превосходный столяр. Никто ему не показывал, никто не учил, до всего доходил сметкой. И сметлив же был! Удивительная инициатива и находчивость!

За то, что в мастерской мы чувствовали себя перед ним идиотами и дураками, жестоко мстили, конечно бессознательно.

Вечерами, после чая, все вместе что-нибудь читали. Одно время перечитывали Маркса, а вообще — по общественным и политико-экономическим вопросам. И надо было видеть эти широко открытые серые глаза, с упорным вниманием и в то же время робко глядевшие на читающего.

Он молчаливо признавал наше превосходство, и мы так же молчаливо соглашались с этим признанием, — и это было сладкой для

нас местью. Он очень много читал и еще больше думал, но по какому бы теоретическому вопросу ни заговаривал, все это невольно и молча признавалось нами книжным, взятым из чужих рук, мы же то же самое умели блестяще и ловко излагать, точно до всего дошли своим умом. И он невольно пред этим преклонялся.

День, заполненный разговорами, движением, суетностью забот, кончается; мы расходимся по своим комнатам, и начинается то, настоящее, что молчаливо ждало.

Тускло глядит мертвым глазом бесконечно долгая северная ночь.

И льют ли беспредельные черные осенние дожди, носятся ли, изгибаясь и белея, метели, разговаривают в трубе, раскалывают бревна в срубе, приникая безжизненным призрачно-фосфорическим лицом к морозным стеклам, все равно в комнате — одиночество, молчаливо прислушивающееся к остановившимся часам жизни с замершим на полувзмахе маятником. И весь день стоит налицо — печальный, задумчивый, ибо не настоящее он.

И нет любви, нет радости, не бьется на-

встречу счастьем сердце.

Сон бежит от очей, только визг и вой просящейся в комнату метели.

Долга ночь!..

А завтра опять...

Мы жили колонией, но был в городке у нас и еще товарищ.

На большой площади, где стояла церковь и паслись лошади и гуси, жила Александра Ивановна Печуринна. Жила она в мезонине, и когда приходили к ней, было в ее комнате как-то особенно уютно, чисто и светло.

Встречала ласковой сдержанной улыбкой, точно была рада, и отдавала товарищам всю душу, но только, так сказать, в общественной сфере. Было что-то у нее интимное и особенное за тонкой перегородкой сдержанности, куда мы не умели да и не пытались проникнуть.

Белая, высокая, крепкая, чуть дородная, с каштановыми свернутыми волосами и открытым русским, как рисуют боярынь на старинных картинах, лицом и говорила нараспев, северным говором.

Когда встречались с ней, говорили, смея-

лись и позади обыкновенных слов, жестов и звука голоса вставляли непроизносимые, молчаливые, дремлющие, но никогда не тухнущие слова любви и счастья, — ее спокойные, ясные серые глаза мягко и с затаенной ласковостью говорили: «Нет».

Она была замужем, но мужа ее сослали в Якутск, а ее сюда.

Внизу жил хозяин с большой семьей и большой благообразной седеющей бородой. Он был богобоязнен, не пропуская, каждый праздник ставил во время службы перед ликом спасителя и божией матери толстые, на зависть и удивление всем, свечи; дома любил тишину, порядок и чистоту и не отпускал ни одной работницы, не наградив ребенком. Вел большую и разнообразную торговлю и торговал, когда приходили к нему в лавку, честно, не запрашивая лишнего, а самоедов, привозивших оленину, морошку, меха, и поморов, доставлявших рыбу, беспощадно спаивал и брал за гроши то, что стоило десятки рублей.

К Александре Ивановне, как и ко всем нам, относился с величайшим уважением. Во-первых, Александра Ивановна всегда аккуратно

платила за квартиру, и, во-вторых, мы, мужчины, никогда не засиживались у нее одни допоздна, — хозяин не знал, что она замужем, и называл барышней.

— Вот, — говорил он при встрече, низко снимая свой нахлобученный картуз, — опять нонче уголовные свой профит оказали: замок висячий в три фунта весом на амбаре у ба-тюшки сломали. Без образования и без сове-сти. Я так полагаю, что вас правительство сю-да присылает на поучение: дескать, пуцай народ обучается, как правильно, по-божески надо жить, а уголовных ссылает тоже на по-учение: вот, дескать, какие есть мошенники на свете... Одного только не одобряю...

И, стараясь смягчить осуждение и погла-живая патриаршую бороду, говорил наклоня-ясь:

— Таинства брака многие из ваших отр-екаются и живут гражданственным сожити-ем, — одно пятнышко на белизне вашей.

К нему, как и к большинству обывателей, замкнувшихся в крепком, раз навсегда за-стывшем укладе, который, казалось, ничем никогда не разбить, мы относились сдержан-

но, официально. Все у нас было иное — и небо, и солнце, и говор леса, и весь душевный мир, из которого строится жизнь.

Мы приглашали Александру Ивановну жить вместе, но она мягко отказалась и поселилась отдельно. Мы виделись часто — то заходили к ней, то она к нам.

Но профессии она была акушерка и, хотя практиковать ей не позволяли, шла к бабам по первому зову, и ее очень любили.

Из-под низко надвинутого темного картонного абажура кругло и резко падает на стол желтым пятном свет на разбросанную бумагу, карандаши, на высунувшийся из темноты угол книги.

Подымаешь глаза — на темном потолке дрожит маленький кружочек над лампой, опускаешь — у стола желтеют три наклонившихся лица, и непокорно выбивающиеся волосы обвивают наклоненную головку со сбегавшей назад косой. Тихонько шьет, слушая. Поодаль смутно белеет фигура Александры Ивановны, и неясным силуэтом чудится в сторонке, согнувшись, Варвара — беззвучно, почти не шевелясь, чистит картошку к ужи-

ну.

— «...Как олень жаждет свежей воды в пустыне, так капиталист жаждет прибавочной стоимости...» — Патриций читает красивым, отчетливым голосом, и очки его поблескивают при движениях.

И я гляжу на него во все глаза — он, искривившись и покачнувшись, тускнеет, расплывается... Звенит ветер, звенит весенний пахучий ветер над далеким степным привольем... По степным речкам белеют слободы и хутора... Кричат пролетные птицы... Люди с грубо загорелыми лицами живут своей особенной простой и жестокой жизнью, как и эти птицы... И я им говорю...

«...Централизация средств производства и обобществление труда достигают напряжения, при котором капиталистическая оболочка не выдерживает. Она лопаается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторы экспроприируются...»

...Я им говорю, говорю вне всяких программ и партий: протяните руку только... и какая чудесная, прекрасная жизнь может быть... какая чудесная, прекрасная страна,

благословенная хлебом, виноградом, скотом — всем, что может дать земля и небо! И я с радостью, почти со слезами хожу за ними и твержу одно и то же в восторженном ожидании, что вдруг все поймется, все перевернется и засияет неизведанным счастьем человеческая жизнь... А они, нагнувшись, копаются в черной земле, и солнце раскаленно жжет их спины, и надвигается пустыня, засыпая пашни, сады, высыхающие реки, и стоит тяжелым угаром все та же звериная, пьяная старая жизнь...

В темноте комнаты, с колеблющимся желтым кружком на потолке, водворилось молчание. Я встряхиваю головой и подозрительно-торопливо оббегаю всех — не заметили ли мою дремоту. Все сосредоточенно думают, вероятно о прочитанном, и на меня не глядят. Только Аня бегло блеснула лукавым взглядом и опять шьет. Патриций протирает очки, потом спокойный голос его опять звучит.

И я напряженно караулю себя, не давая воли воображению, не давая уходить мысли.

Но опять Патриций расплывается, и я с усилием стараюсь собрать его черты вместе.

Какое-то проклятие тяготеет над моим мозгом, который не умеет долго сосредоточиться ни на чем и растекается мечтаниями, смутными, неясными. Быть может, это тяжкое проклятие детства и юности, растленных и проклятых школой.

И, заслоня Патриция, звук его голоса и могучее содержание книги, встает гимназия белым, врезавшимся на всю жизнь в память зданием, встает бесконечно-длинным, неуклюжим, приземистым каменным сараем университет. Я приехал туда истинным дикарем и пошехонцем и привез тяжелый камень неостывающей ненависти к учителям — наставникам жизни, и увез холодное отчуждение от профессоров — наставников науки, и равнодушие к университету, слившемуся в памяти с каменным длинным сараем.

— Я не знаю большей поэзии, не знаю грандиознейших образов, чем у этого великана, — вспыхивает Француз.

Белое здание гимназии, приземистый сарай университета пугливо пропадают, и я настораживаю уши.

— ...И имейте в виду, он орудует отвлечен-

ными понятиями, как бронзой, отливая их в чудовищные по выпуклости и невытравимости формы. — И Патриций, уверенно сверкнув очками, переворачивает страницу и набирает воздуху, чтобы начать новый период.

И вдруг в тишине:

— Да, всегда так... всегда и при всяких условиях барство найдет себе место.

Кто это? Чей незнакомый голос в темной комнате?

Я подымаю глаза, лица ее не видно, она откинулась в тень. Только низом из-под абажура свет падает на стройно выбегающий из кожаного пояса темный стан.

Мы все чувствуем, что это совсем из другой оперы и не имеет никакого отношения к тому, что сейчас делаем, над чем думаем, что волнует.

— То есть что вы хотите сказать? — чеканно звучит голос Патриция.

— Какое это все имеет отношение? — вспыхивает Француз.

Я выжидательно молчу, стараясь уловить в темноте ее лицо. Основа свернулся в свою улитку отчуждения и несмелости, что делает

каждый раз, как мы схватываемся в споре. Белея, молча ложатся возле Варвары одна за одной очищенные картофелины. Смутно-неподвижна в стороне фигура Александры Ивановны.

— Барство, да!.. Мы не имеем права это делать...

— Выражайтесь яснее. Нельзя бросать обвинение с легкостью наивности... — захлебывается Француз.

— Да, и чтоб логика не страдала. — И Патриций насмешливо и ядовито слегка играет брелочком золотой цепочки.

А ее голос так же беспощадно:

— Там мы вносили барство даже в нашу работу, в наши отношения к рабочему, к крестьянину, тут — в отношения между собою. Мы получаем деньги из дому и отдаем на расходы, не ударив пальца о палец, а Основа, наш же товарищ, член нашей товарищеской семьи, бьется в работе в мастерской с раннего утра до поздней ночи, отдает свои силы, свой труд... Вон, руки у него все в мозолях.

Все вскакивают, и темнота комнаты наполняется взволнованными, сердитыми ша-

гами. Только на потолке невинно дрожит и колеблется маленький кружок от лампы да на столе, на бумагах, на книге углом лежит яркое желтое пятно, и от этого кругом еще темней, и все заполняется возбужденными и беспорядочными голосами.

— Вы не имеете права так ставить вопрос...

— Мы не профессионалы... Работаем, как умеем...

— Да вы сами-то заглядываете в кухню?.. Или Варвара есть...

— Перестаньте... да будет... Ну, о чем разговаривать... ей-богу, вот вздумали!.. — мечется Основа от одного к другому.

Ее лицо также в тени, только еще больше наклонилось над шитьем.

Варвара вступается.

— Ну, еще чего нужно, еще чего выдумали! Не дам ни за что...

Гневные шаги, голоса мечутся по темной комнате.

Мы ее почти ненавидим, эту стройную девушку, лица которой почему-то никак не представишь в темноте, ненавидим не столь-

ко за сказанное ею, сколько за только что сказанное нами самими, — ведь она нас всех обшивает и работает не меньше Варвары.

Чтение, конечно, расстроилось, а у нас поохрипли голоса.

Поздно, когда за стенами весь мир непробудно спит, мы одеваемся с Французом и выходим немного пройтись.

Чудесно хрустит синевато сверкающий мириадами блестков снег. Небо, так же морозно-сверкающее, кажется тоже хрустит под бесплотными шагами. А из-за горизонта, таинственно дыша проноссящимся по небу, как бесплотный дым, неведомым дыханием, встанет странная игра холодных огней северного сияния.

— Я не понимаю, — говорит Француз, крупно шагая, чтобы согреться, — не понимаю, чего ей нужно. Когда приехала, откровенно говоря, я был рад... Женщина согревает и освещает жизнь... А теперь черт знает что такое!.. Я ее терпеть не могу!

Я гляжу на его благородный правильный профиль с черной эспаньолкой. Да, он красавец. Вздыхаю, и мы идем молча рядом.

— А ночь-то, ночь божественная... Трите, трите нос! побелел... Ну, и морозище...

Да, идет какая-то борьба у нас с этой девушкой странная и нелепая. Отношения самые товарищеские: смеемся, говорим, читаем, поем, но постоянно подкарауливаем, в спорах отпускаем шпильки. Ловкая и изворотливая, она всегда старается поставить нас в нелепое, смешное положение, а мы платим ей тем же, и под пеплом обыденных разговоров и отношений всегда таится пламя готового вспыхнуть раздражения.

Впрочем, все равно — маятник все в том же замершем на полувзмахе положении, и, быть может, это только фальсификация жизни.

У меня есть спасение. Я незаметно прокрадываюсь к себе на мезонин, тщательно запираю дверь на ключ, сажусь к столу, вытаскиваю спрятанную рукопись и начинаю писать.

Ах, как трудно!.. Как трудно мелькающие, колеблющиеся, зыблущиеся образы схватить словами, запечатлеть на бумаге. Нежные, в тающих красках, живые — они осыпаются, как крылышки мотылька, при прикоснове-

нии к холодному белому полю бумаги, ложась на него неровным, извилистым, мертво чернеющим почерком.

И все-таки я не могу оторваться. Жизнь среди этого тонко мелькающего, эфемерного, тающего и вспыхивающего царства картин и образов, так же неверных, как неуловимо дрожащее марево на горизонте, словно пьянящий напиток, дает сладкую муку — и, вкусив, не оторвешься.

Кусочек по кусочку, капля по капле, тщательно скрывая свою тайну от товарищей, многие месяцы я бьюсь над рассказом. И когда осторожно крадусь по лестнице на чердак, чтобы писать, сердце бьется, словно пробираюсь на свидание.

И только одно — только б никто не проник в моя святая святых.

С Патрицием что-то неладно. Он задумчив, угрюм, уходит куда-то надолго, в мастерской работает молча. Мы деликатно обходим, не лезем с расспросами, а он ничего не говорит, но, кажется, и без того всем ясно — Александра Ивановна.

При воспоминании о ней у меня больно

сжимается сердце. Как-то в разговоре, желая купить ее тонкостью наблюдательности и оригинальностью суждений, я сказал, что мы, как часы, которые насильственно остановили.

А она, спокойно и ясно улыбаясь:

— Да, за исключением Основы, — он не часы, а человек, и всегда живет.

Чтобы не одному проглотить пилюлю, я рассказал товарищам. Патриций насупился и молча вышел из комнаты. Француз накинулся на меня:

— Это уж вы целиком на свой счет принимайте.

Аня неудержимо и весело хохотала.

На наших чтениях было всегда шумно и весело. Патриций веско и наставительно делал замечания, Француз страстно спорил; Основа приводил примеры из своей практики и жизни рабочих; Аня наивно и искренно спрашивала разъяснений; я, делая вид, что слушаю, думал о поездке на оленях в тундру, а Александра Ивановна слушала молча, опустив глаза, не принимая никакого участия.

Казалось, она или не интересуется, или не

понимает. Но нередко, много спустя, когда мы уже забывали о прочитанном, она ставила вопрос или делала замечание, такое дельное и меткое, что мы невольно возвращались к прочитанному и пересматривали свои выводы и впечатления.

Тайна, которая упруго и призрачно окружает самое существо женщины, усугублялась около нее чем-то неуловимым и неразгаданным. Мы давно повеяли друг другу, кто что делал на воле, как и за что попал сюда, а она ни слова не обронила и не то чтоб скрывала, а просто так выходило, что не было случая. Из писем же мы знали, что она была большой спокойный работник, всегда бравший на себя самое ответственное дело.

Бедный Патриций!..

Время идет. Тронулась зима. Потянулись через холодный, тяжело шумящий океан рыдающие метели в неведомые околополярные страны, оставив нам рыхлые, осевшие, проваливающиеся снега, почернелые по дорогам и улице, и солнце с каждым днем все дольше и дольше ходит над домами.

Солнце, чудесное весеннее солнце! Правда,

нежное и слабое, как хрупкая, бледная женщина с просвечивающими жилками, не то солнце, что буйно разметалось над далекими родными степями, от которого стучит кровь в висках, толчками бьется сердце и не хватает короткого дыхания. Но все равно: оно светит бледной улыбкой, оно любит землю, и земля, тихонько и не спуская глаз, тянется навстречу.

С кряхтением, шипя и осыпаясь, тяжело переворачиваясь, неуклюжими толпами продвигаются льдины в изгнание в океан, к отцу своему, восседающему на побелевшем троне предвечного холода И уходит с ними ропот зимы и тяжело колышущийся ледяной туман.

Уже поднялся из-под воды почернелый, илистый луг. И уже на другой день он изумрудно зелен буйной зеленью.

Бледно северное солнце, слабы его ласки, но, быть может, нигде не могуче так материнство его, как на севере. Бледны ласки его, но почти целый день ходит оно над землей, отдавая их ей... И каждая травинка, каждый стебелек, каждый листочек жадно спешат упиться ими.

На глазах человека лопаются почки и, вздрагивая, разворачиваются клейко-смятые лепестки. И травы скачками прибавляют рост свой, и, сегодня голые, завтра шумят листвою березы.

Целыми часами простаивали мы над рекой, над зазеленевшим лугом, а вверху бесчисленные стаи тянули дальше на север, и неся оттуда таинственный и непонятный говор.

Француз почти каждый вечер исчезает и на другой день с помятым, сумрачным лицом смотрит вкось, мимо, не встречаясь, с нашими глазами.

Мы понимаем. Ведь всего двадцать тридцать четыре года. Кровь бунтует и бьется в горячих висках тяжелой, густой, как жидкий свинец, волной, но как не хочется, как мучительно не хочется идти туда, где светлый призрак любви и счастья волочится в позоре купли и продажи.

Не во имя морали и велений нравственности — нет, для меня они не повелительны, и в моем прошлом я уже знаю все, — нет, а во имя счастья, светлого, омытого слезами, не

омраченного поздним раскаянием и нестираемым воспоминанием купленного тела счастья.

Только счастья!..

Еще маленьким мальчиком я думал о том, я ждал того, что называется счастьем. Тогда, в то далекое чудесное время, я, замирая, ждал небольшой живой лошади, белой, с черною челкой и черными щетками на ногах, маленькой живой лошадки, которую мне обещал купить отец для верховой езды. И раз, проснувшись ночью, я ясно, отчетливо, своими собственными глазами в темном углу, где стоял платяной шкаф, увидел белый круп и изогнутую лебединую шею настоящей живой лошадки. Я сидел, полуприподнявшись, уцепившись за края кровати, и глядел. Потом лошадка расплылась, как сон, и была только темнота. Долго после того я просил разбудить меня среди ночи, чтобы еще раз увидеть, но меня не будили, говорили — будет голова болеть от бессонницы, а сам не умел проснуться.

Когда сравнялось одиннадцать лет, я часто глядел с горы на полотно и на станцию же-

лезной дороги, где виднелись крыши в длинных вереницах вагонов. Посвистывали паровозы, таяли белые клубки дыма. Я глядел, — поезд, становясь все меньше, все короче, черточкой пропадал на исчезающем за далеким поворотом полотне, и только рельсы дружно парой бежали бесконечно. Сладко томительная грусть сжимала сердце. Высшим счастьем для меня было бы уноситься с этим поездом. Куда?

По железной дороге мне приходилось ездить, но это не то. Стенки вагонов, видневшиеся сквозь стекла скамейки, диванчики — говорили о чем-то далеком, смутном, неясном, влекущем. Иные города, иные ландшафты, деревья, люди, неведомое и недоступное мне. Только вагоны, молчаливо стоявшие на путях, знали об этом и уносили в говоре колес туда счастливых.

Над губой пробился пушок — уже не мальчик, а юноша, и немеркнувшим представлением, воплотив в себе счастье, во всем обаянии встала женщина. И что бы ни говорил, что бы ни делал, чем бы необузданно ни увлекался, — на дне души, то задремывая, то подыма-

ьясь бушующим пожаром, всегда неиссякаемо жила жажда найти, встретить ее — неведомую, сияющую ослепительным ореолом и тайной.

И быть может, эта девушка с длинной косой по спине, со смеющимися глазами, такая спокойная, то веселая, то насмешливая, быть может она напоминает, что светится, как алмазная искорка, светится оно где-то, готовое вспыхнуть и забушевать пожаром. А пока остановились часы и маятник на полувзмахе.

Но ведь я не люблю ее, эту девушку с длинной косой.

Отчего?

Отчего не придет любовь — пусть не разделенная, пусть полная муки и отчаяния, но мир бы зазвенел, но я бился бы в неисходной тоске между надеждой и отчаянием, я бы убегал в лес, я со всей страстью отдался бы творчеству, чтобы найти забвенье с тайной надеждой победить ее.

Счастье!..

Вот и пришел бесконечный день, странный и непонятный, когда тени делают полный круг около домов, когда травы, не отды-

хая, растут двадцать четыре часа в сутки, когда не знаешь, куда деваться от этого бесконечного света, так нервирующего и отгоняющего сон. Одиннадцать часов ночи — смотришь, а солнце глядит во все глаза.

Книги мы свои забросили. Только в мастерской стоит стук, гром, визг рубанков и в открытые окна рвется отчаянный хор:

*Умре Владимир с горя, порядка не
создав,
И тотчас начал править премуд-
рый Ярослав.
При нем хотя порядок, пожалуй,
бы и был,
Но из любви он к детям всю зем-
лю разделил...*

Часто мы уходили в реденький, корявый березнячок с влажными, ярко зеленеющими полянами и гуляли здесь.

Аня как-то сердито и капризно выговорила нам всем, что мы все, как старички, необыкновенно чинны и чопорны.

— Хоть бы игру какую-нибудь затеяли, — говорила она, поправляя упавшие на лицо волосы, — бег какой-нибудь, в мяча, что ли, а то,

право, так непроходимо скучно...

Француз горячо принялся за дело и артистически сшил великолепный кожаный мяч. В мастерской выстрогали палки и отправились играть в лапту. На беду, Француз позвал с собой Полкана — небольшую дворнягу, шалую и неповоротливую, которая день и ночь спала у нас в мастерской на стружках, а во время обеда сидела под столом и утаскивала, когда зазеваются, хлеб и кушанья.

Все были оживлены и веселы. Основа засучил рукава и взял палку, приготавлиаясь хорошим ударом загнать мяч в поднебесье. Загудела лапта, глухой удар — и черная точка мяча скрылась в вышине. И только через минуту, далеко впереди, шумя, он слетел откуда-то с высоты и бухнулся о землю, высоко подскочив.

— Отлично!..

— Вот так удар...

— Превосходно!..

Я, Патриций, Француз побежали за мячом. Полкан нас опередил и с усилием и неуклюже взял мяч в рот и во все ноги пустился бежать. Наше настроение разрушалось самым

грубым образом.

— Полкан... Полканчик... хорошая собака... на-на-на!..

Мы всячески улещали его, осторожно подходя, маня, предлагая хлеба. А он, положив мяч между передними лапами, глядел на нас ласково и доверчиво. Но когда подходили, он снова неуклюже забирал мяч в рот, отбегал и опять ложился и глядел на нас.

— Убббью!.. — заревел не выдержавший Француз и как буря понесся за Полканом.

А тот, поджав хвост, торопливо забрав в распилившийся рот мяч, пустился во все ноги.

Взбешенные, мы что есть духу неслись за Французом: я, Основа с лаптой, Патриций, даже в этих исключительных обстоятельствах все такой же корректный, со слегка поднятой головой, чтоб не свалились с носа золотые очки, Аня, покрасневшая, с бьющейся по спине косой, приподняв юбку, а позади всех Варвара гремела чайником, который впопыхах позабыла положить.

Так мы неслись по лужайке, потом между березками, прыгая через кочки, напрягая все

силы, точно были поруганы наши священнейшие права.

Наконец Француз, задыхаясь, остановился.
— Не могу!..

Мы тоже остановились, тяжело дыша, едва переводя дух. Аня глянула на нас, упала на траву и закатилась неудержимым хохотом. И когда мы посмотрели друг на друга, на наши побледневшие, задыхающиеся лица, по которым катился пот, — раздался дружный хохот.

Это был самый веселый наш день. А всему виною Полкан. Многое ему за это простилось.

Дверь странно широко распахивается, и ко мне торопливо входит Основа. С секунду мы глядим друг на друга.

— Где железная лопата?

Такой простой вопрос, но отчего-то сердце забилося тревожными толчками.

— А?

Лицо у него землисто-серое, нижняя челюсть прыгает.

— Железная лопата... наших надо разыскать — в лес, должно, ушли.

А я уже торопливо продеваю непопадающими, дрожащими руками в рукава.

С лестницы доносится скрипуче удаляющийся шепот и голос Основы:

— Идите сейчас же к Александре Ивановне...

Я не иду — я бегу, бегу по улице, и прохожие оборачиваются на меня.

«Вздор... пустяки... ничего нет... он бы сказал...»

Огромным усилием воли сдерживаю себя, иду шагом... Нет, опять бегу, ноги несут сами, и я ничего с ними не могу поделать.

Площадь, трава, зеленое болото, пасутся лошади, гуси. Вот и большой почернелый деревянный дом. Лавка, хозяин низко снимает картуз. Сверху из мезонина глядят ее окна.

Подымаюсь по крутой, полутемной лестнице. Стучу. Оттуда: «Войдите». Отворяю дверь, сердце на мгновение успокаивается, — все, как всегда, чисто, прибрано, уютно. Только Александра Ивановна, одетая и причесанная, лежит на прибранной кровати и не подымается мне навстречу. Я жму ее горячую руку.

— Вам нездоровится?

В ту же секунду со вновь родившейся тре-

вогой вижу, как запали в глубокой кайме ее глаза и горячечный румянец нервно пылал на щеках.

И вдруг голос ее, голос, как всегда спокойный:

— Ночью... я... родила...

Пол уходит. Смертельный холод плывет по ногам, охватывает руки, голову, проникает в сердце.

«Сошла с ума!.. сошла...» А губы, кривясь, судорожно бормочут:

— Успокойтесь... воды... выпейте воды... ничего... выпейте...

«Сошла с ума... сейчас же надо разыскать всех...»

— Я... ночью...

— Да... ничего... всё... воды...

Я поднимаю руку и притрагиваюсь к поту, который холодной росой выступил у меня на лбу.

— Боже мой... какие муки!.. Нет, я не хотела их звать... Я грызла подушку, чтоб не кричать... грызла... Вот угол, пух лезет... Только постучать в пол... пришли бы... нет, не хотела... не хотела я их... Ах, какие боли!.. Девоч-

ка... ребенок, мой ребенок... он трепетал, трепетал на моих руках... Пуповина обвилась вокруг шейки... никак не могла распутать... Задыхнулась на моих руках... Трясла... качала... всё напрасно...

Я крепко запускаю ноготь в щеку, чтобы разбудить себя, и оттуда падает капелька крови. А она шепчет:

— Девочка моя, дочка... семи месяцев... Они выживают, семимесячные... в вату, уход... Ах, как бы я смотрела за ней, за моей дочуркой...

Я все еще колеблюсь в сомнении между правдой и безумием и бегаю торопливо глазами по комнате: вот *она* на столе в углу, завернутое в разорванную белую простыню, этот странный белый сверток, от которого я не могу оторваться.

А она говорит спокойным голосом, и глаза ее блестящи и сухи:

— Пришло внезапно... ночью... Хотела позвать кого-нибудь из вас... Варвару... схватки... не в силах... невыносимо...

Потом молчание. А меня охватывает одна мысль, которая не дает покою: как мы не за-

метили, как же мы ничего не заметили, и женщины?.. Ну, Аня так, а Варвара? Очевидно, она и ей ничего не сказала. Но как же мы не заметили? И по фигуре ничего не заметно было...

— Я вчера получила письмо... Очень долго шло... неожиданное... Доктор один... Мы с ним давно... Он все присматривался ко мне, такой странный... медлительный, тяжелый... а уж если решил — как железный... Пишет, эти годы думал... пишет, любит меня и без меня жить не может и не хочет... В эту ночь его уже нет, срок дал для ответа... письмо долго шло... Да и что бы я ответила ему?.. Что?..

Она опускает веки на все такие же сухие глаза, как будто ждет от меня чего-то.

Что же я ей скажу: «Успокойтесь... выпейте воды»?

Она вдруг приподнимается, опираясь на локте, чуть не с ненавистью глядя на меня, и почти кричит:

— Я люблю мужа, слышите, люблю!.. Он ждет... он ждет своего ребенка...

Чувство ужаса слабеет во мне, и я почему-то считаю своею обязанностью, долгом пе-

ред этим несчастьем удержат в себе всю напряженность, всю остроту его — и не могу, точно все во мне обмякло, обвисло, и невольно назойливо две мысли толкутся в голове. Одна: «Как же это мы ничего не заметили?..» И другая: «Отчего же все... в комнате так прибрано и чисто после всего случившегося?..»

Не знаю, чутьем ли она угадала, или это было написано на моих глазах, или случайно — только она говорит:

— Я потом... когда мертвый на руках... встала... сделала, что нужно... вымыла... прибрала... оделась... Вот он лежит на стуле.

Она закрывает глаза и так лежит. Я сижу не дыша. Кто-то нервно, торопливо и больно выстукивает. Прислушиваюсь — сердце у меня стучит. У нее всё закрыты глаза. Я тихонько приподымаюсь, не шелохнув стулом, и на цыпочках, балансируя руками, пробираюсь к дверям.

Отворяю их осторожно, чтобы не скрипнули, и в последний момент, когда затворяю за собой, в суживающейся щели на меня блеснули с кровати сухим блеском глаза. Дверь беззвучно затворилась.

В темноте прыгаю через три-четыре ступени, как будто пожар.

«Надо позвать... надо сказать... нельзя же так...» — било у меня в голове, и опять: «Но как же мы не заметили?.. Как же мы ничего не видели?..»

Я торопливо иду по площади и ловлю зубами нехватаящий воздух. Кто-то окликнул. Основа. Я прошел возле и не видел.

Мы повернули. У него такое же землистое лицо и лопата в руках. Мы идем молча. Вот он, этот дом. Два окна наверху. Хозяин что-то говорит нам любезное из дверей лавки и поглаживает бороду.

Подымаемся по темной лестнице, осторожно дыша, и останавливаемся у дверей с бьющимся сердцем, — оттуда рвутся неудержимые рыдания.

— Девочка моя... дорогая моя... ребенок мой... крошка моя родная... Ты не слышишь меня, ты ведь не слышишь меня, не слышишь, не слышишь. О, мука!.. Я никогда, никогда не забуду, никогда... мое родное дитя!..

И захлебывающиеся, подавляемые, лающие, стиснутые звуки — должно быть, подуш-

ку зубами закусил. Я пытаюсь постучать в дверь, но Основа сжимает мне плечо.

— Слышишь?..

— Слышу.

— Не надо стучать.

Мы стали у двери.

— ...Деточка... девочка моя... только два раза... два раза дохнула... о-о-о-о!.. Хха-ха-ха! Хха-ха-ха!..

Я осторожно стучу, и мы входим.

Александра Ивановна молчит и смотрит на нас горячечными глазами. Потом говорит:

— Возьмите... там... в лесу... где елки... похороните на бугорке...

Мы оба подходим, громко стуча сапогами, хотя идем на носках. Я протягиваю руки и беру сверток. Что-то тяжелое, как студень, ходит под пальцами. Я опускаю в плетеную сумку.

Мы идем к двери, не оглядываясь, и, так же не глядя назад, закрываем дверь и остаемся навливаемся, напряженно прислушиваясь. За дверью та же неподвижная тишина.

— Ну, пойдете.

Спускаемся, нащупывая невидимые ступе-

ни, и в сумке мертво и тяжело переваливается, как будто там налита ртуть.

Выходим. Площадь, болото, лошади, гуси. Позади молчащий дом, и два чернеющих окна провожают нас.

Основа несет лопату. Я с удивлением слышу его совсем другой голос:

— Вот... я никак... до сих пор... в себя не приду...

— А знаете... — говорю я, — бывают такие душевные явления... Многие люди видят, а на самом деле этого нет... и не проверишь — у всех одинаково... Посмотрите, на нас все смотрят...

В каждом стекле прилипли лица, руки, глаза. Баба развешивает белье, обернулась, смотрит. Сумка, что ли, особенно оттягивает руку и обращает внимание всех.

Смутно вырастает сознание: все знают, что мы несем.

В лесу Основа роет яму, роет быстро и деловито, как все, что он делает. Золотится чистый, янтарный песок, выбрасываемый лопатой.

Я сижу на пригорке. Возле — сумка с расто-

пыренными боками. В просвете меж красных сосен сквозит неохватимо серебряная гладь озера; тысячи зеленеющих островков. Пахнет смолистыми сучьями. Тишина. Над головой сумрачно-молчаливая густота хвои.

— Надо глубже, а то собаки выроют, — говорит Основа, работая.

А я думаю с негодованием: «Чудак, словно по хозяйству в саду у себя копается».

Опускаем на дно тяжело отвисающую сумку. Песок сыплется, все выше и выше поднимаясь в узкой яме. Сравнялось. Основа нагребает сухой хвоей и набрасывает сучьев, чтобы было, как кругом.

— Не надо говорить ей... Будет бегать сюда... Надо забыть место.

Но я чувствую, — у него, как и у меня, запечатлелось все до последней веточки, песчинки, и не вырвать во всю жизнь.

Потянулись сумрачные, унылые дни. Александру Ивановну мы перевели к себе. Она то неподвижно глядит в окна, то лежит на кровати, молча закинув руки под голову.

Мы ходим на цыпочках, говорим вполголоса, как будто в доме покойник. В мастерской

не слышно голосов, только сдержанный стук инструментов.

И вот по дому проползает роковое слово, которое гнали от себя, о котором боялись думать:

— Температура подымается...

— Слышите ли, температура подымается...

Мы забираемся в дальние комнаты в углах:

— Сколько?

— Тридцать восемь.

— Что же это!..

Долго прислушиваемся к грозно и неотвратимо надвигающемуся.

Проходит мучительный день, проходит мучительная, не дающая сомкнуть глаз ночь.

И опять:

— Сколько?

— Тридцать восемь, четыре.

Вечером:

— Тридцать восемь, восемь.

— Господа, так нельзя. Это смерть идет, заражение крови.

— Необходимо доктора.

И все глаза обратились ко мне с Основой.

— Ну, разумеется, доктора, — проговорил я преувеличенно убедительно и горячо.

А Основа просто:

— Сейчас схожу.

С предосторожностями сообщили Александре Ивановне. Она посмотрела на нас спокойно и холодно.

— Не надо доктора.

— Но... Александра Ивановна, нельзя же запускать, ведь...

— Я сама знаю, акушерка... подождем.

И потянулись мучительные, удушливые часы ожидания.

— Тридцать девять.

Тогда решили позвать доктора помимо нее. Но она, очевидно, следила за нами.

— Я вам говорю — не надо доктора.

— Нет, уж как хотите, доктор необходим.

Она зло посмотрела на меня, на Основу и... расхохоталась. У меня мурашки по спине.

— Ха-ха-ха... какие благородные, какие великодушные молодые люди!.. Доктора!.. Доктор осмотрит и, конечно, спросит: «Где же ребенок?» Раз его нет, стало быть, надо подозревать наличность преступления... Разы-ыщут!..

Найдутся свидетели, с радостью покажут — вы несли что-то в лес... А если откопают, сразу видно, ребенок родился живым... Я убила, вы — соучастники... Вам тоже каторга... Ха-ха-ха... молодые, благородные, великодушные люди!..

То, что она говорила, все время сидело у меня в глубине души смутным, несознанным беспокойством, которое я подавлял, как только оно шевелилось.

Основа вышел в другую комнату.

— Доктора я приведу... Насильно нужно.

Но слух ее был обострен. Приподнявшись, злобно блестя воспаленными глазами, хрипло крикнула:

— Все равно не дамся!..

Аня рванулась, обвила ее шею, спрятала голову на ее груди и заплакала тонкими беспомощными, детскими слезами. Больная гладила ее головку и говорила своим прежним, успокоившимся, сдержанным голосом:

— Детка моя, родная... дорогая моя... Хорошо, только немножко обождите... Я сама схожу к доктору, переговорю, а потом пусть приходит, лечит.

— Но, Александра Ивановна, вы взгляните, лицо у вас пылает...

— Я знаю, что делаю.

Она попросила на минутку нас выйти, собралась, потом вышла к нам, — на помертвевших щеках тлел румянец, — пожала всем руку, долго и мягко останавливая на каждом спокойно-грустные, подернутые горячечной влагой глаза.

И ушла.

Больше мы ее не видели.

Проходит час, два, три — нас охватывает неодолимое беспокойство. Бросились к доктору, — ее там не было. На старую квартиру, ко всем знакомым, во все уголки, где бывали, — никаких следов.

Провели всю ночь в поисках.

Утром Патриций, с белым лицом без очков, не сдерживая трепетания губ, проговорил:

— Надо искать... искать во что бы то ни стало... Разделимся на партии... Я — по тракту... — и ушел.

Мы разделились. Варвара и Аня должны обыскать весь прилегающий лес. Француз

углубится в тундру, я — вниз по реке и по берегу губы. Основа — по деревушкам вверх по реке.

Не успели мы выйти за город, нас всех арестовали, — узнали о побеге Александры Ивановны и Патриция.

В эту же ночь Основа разобрал печку и дымовой ход и вылез на крышу. Его увидели, стащили и беспощадно избили.

Мы в своих клетушках стали бить стекла, скамьи, столы. Пришли и жестоко избили и нас.

Долго лежали мы, обмотанные тряпками, тупо-равнодушные ко всему. За стенами ругались и пели арестованные. На дворе пилили дрова. По потолку сновали тараканы, а с нар лезли и жгли клопы и вши.

Тягучие ненужные мысли тянулись, как мутная ленивая река.

Где Александра Ивановна? Может быть, тело ее уже растаскали медведи и лесные волки. Может быть, в жару и бреду мечется в какой-нибудь деревушке или отлеживается где-нибудь в глухом углу у товарищей, или была ложная тревога, болезнь не развилась, и она

сидит теперь в гудящем и постукивающем на стыках вагоне. Всюду писали, но никаких о ней сведений ни от кого не получили.

Дня через три привели Патриция — исхудалого, дикого, неузнаваемого.

Через три недели нас выпустили. Мне, Французу и Основе накинули по году, Анне и Варваре обошлось без последствий, Патрицию прибавили два года.

Потянулись дни, месяцы, с таким ощущением, точно только вчера вернулись с похорон. Но время — да будет благословенно, — время, как ржавчина, съедающая величавый подвиг сердца и позор преступлений, понемногу стирало глубокие следы разрушения жизни. Что бы ни случилось — жить надо, надо читать, думать, разговаривать, работать, смеяться и ждать счастья, и ждать свободы, и ждать счастья.

Опять зима, опять долгие-долгие ночи, простор для мыслей, тоски и скуки.

Стол, чернильница, стопка белеющей бумаги и начатая страничка — все ярко озаренное из-под абажура, дружелюбно смотрит на меня, в тайном союзе готовое помогать.

И нет стен, потолка, окон, дверей, — комната бесконечно раздвинулась темнотой своей, и темнота зыбко наполнилась милыми, дорогими гостями — солнце, поле, люди, смех, Красная луна, синеющий лес, милые раскинувшиеся степи, а из комнаты уцелел только кусок озаренного из-под абажура стола.

Иногда приходит черная гостья — отчаяние. Спокойно-холодной, бестрепетной рукой берет оно трепещущее сердце, тихонько все больше сжимая: никогда!..

О, какая боль!.. какая мука!..

Никогда не быть мне живым художником, творцом. Не придут на жизненный пир брачные гости моего творчества, моей фантазии. И тухнет солнце, и меркнут поля и леса, и уже нет степей, разошлись люди. В полутемноте, узко и тесно сдвинувшись, стоят стены низенькой комнатки, незряче глядит промерзшее окно, а на стол падает из-под абажура желтое пятно света, холодное, ненужное. Я хожу большими однотонными шагами из угла в угол и гляжу на мелькающие под ногами щели разошедшихся досок.

Однажды пришла другая гостья, никогда не приходившая, неожиданная.

Постучались. Я торопливо попрятал свои писания.

— Войдите.

В полуоткрывшейся двери, как в раме, стояла стройная фигура с перехватывавшим кожаны́м поясом.

Всегда спокойный с ней, я почему-то тут засуетился бестолково и ненужно.

— Ах, это вы!..

Она вошла в комнату, поглядывая на опустевший стол и сдерживая игравшую на губах усмешку.

— Вы не колдуете тут?

Я засмеялся ненужно и деланно и вдруг насупился и замолчал, рассерженный на самого себя. Она присела к столу, играя карандашом.

— Ужасно долго тянется время...

— А оглянетесь, пролетят годы, — угрюмо бросил я.

Помолчала.

— Читать не хочется и все валится из рук.

Сдавливая, тесно, узко и низко стояла полутемная комнатка.

— И в окна не хочется смотреть, — как мертвые глаза у мороженой рыбы.

И вдруг засмеялась, и искорки задорного девичьего смеха шаловливо забежали в глазках:

— А ведь вы пишете?.. контрабандой?..

Давно ночь. Еще в два часа потух последний отблеск зари.

Волнуясь, хожу по комнатке: читать или не читать? Кислые лица; начнут, удерживаясь, зевать; кто-нибудь скажет: «Дд-а, ничего...» А Француз, тот попрямее, брякнет: «У вас ни малейшей искры, ни малейшего дарования!..» Что же делать тогда? Как же я вернусь в свою комнату?

А вдруг Аня всплеснет руками и вскрикнет: «Да у вас талант!.. У вас огромный талант, боже мой!..» И все они ужаснутся, что жили бок о бок с таким огромным дарованием и не подозревали. И когда вернутся, будут всем рассказывать: «А мы ведь, знаете ли, были в ссылке со знаменитым писателем».

И я в необычайном волнении, с сердцем, готовым разорваться, все быстрее и быстрее хожу по комнате, поворачиваясь в углах; в

глазах мелькают освещенные на столе бумаги, а лицо разъезжается в неудержимо блаженную улыбку. Голова идет кругом, стены плывут. Я останавливаюсь передохнуть и снова начинаю качаться, как маятник, сам не замечая того, все быстрее и быстрее, до головокружения.

А те ждут: уже два раза стучали снизу в мой пол. И не подозревают, что сегодня они — судьи мои, может быть палачи мои.

Я собираю листки рукописи, тушу лампу и спускаюсь по скрипучим ступеням. На половине лестницы скрип обрывается. Зачем я иду? Зачем? Вынести на базар ненужную тайну мою?

Долго стою в темноте. Холодно. И опять спускаюсь, и опять долго стою перед дверью. Из-за нее слышны их голоса; смеются; вот заспорили; чьи-то торопливые шаги к двери. И я, чтоб не быть пойманным подслушивающим, вместо того чтобы уйти, совершенно неожиданно для себя распахиваю дверь и вхожу. Они все вокруг стола и разом заговорили:

— Что вы запропали?

— Я говорю — он колдует там.

— Мы думали, уж не умерли ли.

А я с натянутой улыбкой говорю:

— Я вот... вот принес... почитать вам... — и поперхнулся.

— А-а... отлично, отлично!..

— Слушаем.

— А я и не подозревал... Ну, ну, ну, читайте.

Все задвигали стульями, рассаживаются поудобнее. Потом тишина, и слышно, как бьется мое сердце — до боли.

Я разбираю листки, и они трясутся, как в лихорадке. Нет, не могу... Кладу листки на стол, а руки прячу — слишком дрожат. Товарищи, из деликатности, кто смотрит в потолок, кто в пол.

Я глотаю слюну, и вдруг чей-то чужой, совершенно незнакомый срывающийся голос отдается в пустой комнате:

— «Над заброшенным городком занимался серый день, медленно проступая белесоватыми пятнами сквозь молочную мглу сумерек отступавшей на север ночи. Он тихонько забрезжил неясным просветом в узорчато-мо-

розном окне маленькой комнатке, вползая туда мутными волнами побелевшего осеннего утра. Унылые стены печально выступили из поредевших сумерек, точно только что они откуда-то вернулись.

Одинокий жилец комнаты приподнялся с кровати на локте...»

Я перевожу дух, глотаю слюну и на секунду поднимаю глаза: пять пар блестящих глаз, не моргнув, смотрят на меня — больше я ничего не вижу в крошечной тьме, нас обступающей. И опять чужой, неизвестный, но к которому я уже привык, голос продолжает с неизъяснимым отчаянием:

— «...он подошел к реке; остановился. Кругом висела темная ночь и неподвижно глядела на него загадочным взором. Вверху тихо ползли тучи, в береговых обрывах шелестел ветер, за рекой колебались белые призраки туманов...»

Никому не нужные беспомощные детские слова мучительно долго звучат около желтого пятна лампы:

— «...Ему страстно хотелось схватить, удержать покидавшее настроение, но неулови-

ую мечту не вернуть».

«И опять он остался один...»

Охрипший чужой голос оборвался, и я собираю дрожащими пальцами листки, прислушиваюсь к странно наступившей тишине и не подымаю глаз.

«Они меня теперь презирают...»

Кто-то отодвинул стул. От белизны бумаги, на которую ярко падает свет и на которую долго смотрел, кругом темно, и я ничего не вижу.

«Они меня презирают...»

Кто-то вздохнул. Отчего? Оттого ли, что тронул рассказ, или оттого, что хочется зевнуть?

Робко подымаю глаза, — Аня. Она смотрит на меня, не спуская глаз, должно быть насмешливо, и говорит, загадочно улыбаясь:

— Сентиментально.

И хотя жду наихудшего, это бьет меня, как острый нож.

— Да. По-моему, если тоска, — ну, пей, играй в карты, развратничай, что ли, а нечего антимионию-то разводить.

Из-под темных усов, как слоновою костью,

вспыхивают у Француза белые зубы, и мы чувствуем — недолго, вероятно, остается: он этим и кончит.

— Да, с маленькими смутными настроенными не стоит возиться, — говорит Патриций, и, как всегда, все видят и чувствуют, что так оно и есть, как он говорит. — Только определенные, резкие, тяжелые столкновения человеческих душ, откуда вырастает или катастрофа, или безмерное счастье, — только такие явления психической жизни достойны художественного внимания.

Он снял очки, протер.

Аня смеется:

— Контрабандист.

И я смеюсь.

Около Варвары в полутьме белеют подбавляемые очищенные картофелины.

Я смеюсь, смеюсь лицом, которое для всех, к которому привыкли.

— Да, пустяки... — говорю я пренебрежительно, — от нечего делать...

А то, другое лицо — которое только для меня — смертельно бледное, в судороге боли и отчаяния кричит: «Кончено!.. все пропало!..»

все напрасно... Они меня презирают... Из меня ничего не выйдет...»

Мелькнула знакомая черная гостья, просунула костлявую руку в грудь и сжала сердце, как никогда. Рванулось, забилося, затрепетало, но костлявый старушечий кулачок так и остался. «Никогда... никогда не быть мне художником!.. Творчество не для меня...»

Я тихонько, осторожно подавил вздох и глянул: серые глаза Основы ласково глядят на меня.

— Вот вы, — говорит он, — у вас эта ночь... Я тоже... вот такая же ночь, когда фабрику-то подымал. Темно. Мальчишки у меня адъютантами были, везде шныряют, бегают, все разузнают и докладывают мне. Вот прибежали, говорят, собрались рабочие возле сторешней столовой, а против них солдаты. Говорят, колоть зараз будут. Я — туда. Грома-адная толпа рабочих, против — рота. Рабочие возбуждены, кричат, по лицам бегают пламя, пожар догорает. Вдруг рота двинулась, ружья наперевес. Я кинулся, как зареву: «Как!.. братьев?.. кровь!..» После говорили — оглушил всех, а я не помнил себя. Солдат мне в грудь штыком.

Я схватился, вырвал — о камни приклад вдребезги. Должно быть, ошарашило, солдаты остановились, глядят, рабочие тоже. А я их назад осаживаю, — расходишь, товарищи... Так постепенно разошлись, и меня не успели схватить.

Мы смотрим на него, — небольшого роста, обыкновенное рябое рабочее лицо, и в этой полутемной комнатке он растет, массивный, широкий, и мы смотрим на него снизу.

— А как пришел домой, стал раздеваться...

Это голос Варвары из темноты. Она улыбается — а она редко улыбается.

— ...Стал раздеваться. «Что-то, говорит, рубаха у меня как кол...» Снял, а она вся в крове, уж и высохла. Штык-то пробил полушубок, кафтан, жилет, пуговицу расколел, а он и не слышал.

Аня смотрит на него блестящими глазами, потом ко мне:

— Вот бы описали.

Потом, как будто не в связи, начинает сама рассказывать о своей жизни дома, в семье. Потом Француз, — о том, как вылетел из института.

Эта полутемная комнатка с освещенным из-под абажура столом в этот странный вечер полна тихо встающих ласковых воспоминаний. Варвара — она никогда не вступает в наши разговоры — рассказывает, как была в девках, встретила с Основой, вышла замуж, вместе работали.

Разлилась тишина. Сегодня ни споров, ни взаимного раздражения. Основа принес бунтовавший, весь в клубах, самовар. И за дымящимися стаканами и чашками опять тихо плыли воспоминания, далекие милые призраки. Только у меня по-прежнему в груди — безнадежно давящий костлявый кулачок: «Никогда!..»

Француз ходит по комнате и вдруг круто останавливается передо мной:

— А знаете что?.. — Он пристально смотрит на меня. — Вы будете писателем.

Все засмеялись.

— Он контрабандист, — смеется Аня, — он потихонечку от всех писал. Никто не подозревал, а я знала.

Удивительно экспансивная и впечатлительная нация эта французская.

— Господа, а знаете, который час?

— Сколько?

— Четыре.

— Батюшки мои!.. Вот так засиделись.

— Ничего, успеете выспаться, солнце-то в одиннадцать всходит, семь часов еще.

Сразу пришла усталость и сон, и, зевая и потягиваясь, все разошлись.

Все разошлись. Я поднимаюсь к себе, — рад, что, наконец, остался один. Надо что-то обдумать, решить. Давящий кулачок в груди: «Никогда!..»

Отворил скрипнувшую дверь. Вот она, постылая комнатенка. Только мертвый глаз мороженой рыбы смотрит тускло. Нет, не могу. И я торопливо одеваюсь, спускаюсь, осторожно нажимая на скрипучие ступени, долго вожусь с затвором, чтобы не стукнуть, чтобы не услышали мой уход, и выхожу.

Густой, неколышущийся мороз, обжигая, с трудом вливается в грудь, и рассыпанно сверкающие звезды плавают сверху.

Иду по улице. Угрюмо и черно выглядывают траурные срубы, все бело кругом. Крыши, стены завалены снегом. Ни огонька, ни звука.

Мертво.

И я рад, рад этому безграничному одиночеству. Да, надо что-то обдумать, что-то взвесить и решить. Что же? Словно потерял любимую женщину, и все кончено, и с тоской мечаешься, с тоской и странной, глубоко теплящейся где-то неосуществимой надеждой.

В густом морозе и белизне снегов потонул сзади черным пятнышком городок, потонул, и обступил белый лес. В белом трауре неподвижны сосны. Дыхание стынет у лица.

Я иду по глубокой дороге, и плечи мои вровень со снегами.

На сотни верст ни жилья — все лес, такой же неподвижный, траурный лес. И под траурно отягченными махрово-белыми ветвями неподвижно-густая синева. Точно первозданный холод безжизненно разлился по земле, все застыло. И это безжизненно-холодное одиночество медленно вливается в сердце, и стынут в нем и отчаяние и надежда.

«Да, так вот, решать надо... О чем же?.. Аня., всегда у нее черный кожаный пояс... ко-са до самого пояса... И Француз... всегда он зевает, когда читает Маркса... Не могу вспом-

нить его рожу, как пуля пулей летел за Полканом... А у Полкашки рот огромный — мяч там чуть не помещается, — и несется во все четыре ноги... Подлая собака... Да, обдумать-то надо и решить... Что я — бездарность, это решено... и они презирают меня...»

Подымаю голову, — те же смутные отягченно-белые сосны. Иду все дальше, глубоко засунув руки, втянув голову в плечи, окутанный дыханьем, и все тот же первозданный холод, все то же немое молчание.

Останавливаюсь. Хоть бы звук!.. Хоть бы тонкий живой писк... Хоть бы веточка сломилась и упала, цепляясь. Пустыня... Казалось, само недвижимое время застыло.

Из этого мертвого молчания, из этого мертвого холода робко вырастает жажда живого. И я прислушиваюсь к ней, к этой затаившейся, теплящейся где-то жизни.

Неподвижны колонны сосен, как в огромном холодном зале, но в дуплах — теплые комочки маленьких зверков. И если, проваливаясь но плечи, пройти целиком в лес, над заваленным доверху валежником тонкой струйкой колеблется из обтаивающего снега

живое дыхание, — огромный зверь сосет, свернувшись под снегом мохнатой грудой, и теплая кровь тихо пробирается, пульсируя, по жилам. Тысячи тысяч пернатых неподвижны в мохнатых ветвях, тая дымящуюся, незастывающую кровь.

Жизнь!

Я вздыхаю полной грудью, широким, свободным вздохом и поворачиваю назад. Ведь все еще впереди — годы, может быть десятки лет.

Иду широкими скрипучими шагами туда, в свою милую комнатку, с которой связано столько тайн.

И седые, махрово-белые отяжелевшие ветви отходят назад, и на их место другие, идут без конца, — далеко зашел.

А гостья? черная гостья. Ее нет. Сердце бьется свободно, радостно и ровно.

И чтобы насладиться его живым нетронутым биением, пускаюсь во весь дух по скрипучей дороге, захлебываясь густым холодным воздухом; и сосны, благословляя, осыпают меня белым оседающим инеем.

Ведь сказал же Француз: «Вы будете писа-

телем...» — сказал же почему-то, никто его за язык не тянул, и человек он прямой и искренний. И отчего сегодняшней вечер мы провели так душевно среди милых, тихих воспоминаний? Отчего?

Лес расступается. Чернея среди снегов, темной кучкой глядит городок. Весь дымится к побелевшему небу торжественно восходящим утренним дымом, — давно встали хлопотливые хозяйки.

Наш угрюмо чернеющий дом доверху завален снегом. Я осторожно поднимаюсь по скрипучей лестнице. В дыму мороза низко и красно протянувшаяся заря глядит в окно.

Спать? О нет. Я торопливо достаю бумагу, чернила, перо. Скорее запечатлеть — и в этом неизъяснимая сладость, — запечатлеть и лес, и морозный холод, и всюду теплящуюся жизнь, и счастье, счастье, которое непременно должно прийти.

А время идет неуклонно и слепо. Ему нет дела до нашего маленького горя и бед, нет дела до колоссального горя, разлитого по лицу земли.

Растаяла и с плачем ушла зима, снова заго-

релся день, и без усталости почти двадцать четыре часа, наверху, ходило солнце над горизонтом, не давая спать. Потом стало меркнуть. Потухали белые ночи, и приходили глухие и черные и подолгу стояли над землей. Зеленые и листва еще держались, но уже печальные перед концом дней своих. И на севере подымались белые туманы и подолгу стояли сплошной стеной.

— Господа, лето кончается, необходимо попить последний раз на лоне природы, — предложил Француз, инициатор всяких начинаний.

— Идет!..

— Прекрасно!..

— В самом деле, замуруемся опять на зиму.

Собрали провизию, наняли лодку и, дождавшись, когда прилив стал вздвигать реку, погнал воду вверх и затопил все мели и илистые обнажения, оттолкнулись от берега.

Как щепку, подхватили лодку бешено несшиеся вверх по реке шумные воды, и берега мелькали, точно с парохода. Далеко темнел лес. Городишко, чуть чернея, остался позади. И отсюда только было видно, какой он кро-

хотный и как со всех сторон неохватимо обступили его тундры, холодные воды, темные леса.

Долго бились, чтобы пристать к тому берегу, — бешено несло вверх. Наконец величаво, темно и молча простерлись над нами вековые ветви.

Стояла торжественная, ненарушимая тишина над водою, над лесами, в холодном воздухе, над сырой мглой, облежавшей горизонт. Царила тишина строгого молчания.

И как бы в тон этому печальному молчанию, не нарушая, а углубляя его, пронесся стон чайки, белой чайки: печальный протяжный крик резнул сердце неподдаваемой, щемящей тоской.

— Товарищи, ну что это... Зачем же приехали сюда?.. Скорее костер.

И все за Аней бросились собирать дрова. Варвара возилась с посудой.

Сумерки уже садились, как паутина, на лес, на реку, на берег, на лица, и уже бушевал огромный костер, бросая судорожно-багровые отсветы на людей, на деревья, и всюду засновали черно-трепетные тени.

Зазвенели стаканы, пришло веселье, то молодое веселье, которое умеет зажечь жизнь разноцветными огнями и так же беспричинно уходит, как и приходит.

— Петь, петь, господа!..

И бархатный голос Француза могуче и нежно зазвучал под соснами и понесся над темнеющей рекой, долго не умирая. Он пел, как артист перед огромной залой, залитой огнями и людьми, и на лицах наших багрово трепетало пламя. И когда замолчал, долго еще звучал его голос где-то далеко над рекой.

Ночь нахмурилась.

Потом пели марсельезу, — все, какими голосами кто мог.

— «Pour la nation!..» [1] — густым эхом отдавалось в соснах. Патриций вскочил на пень и иллюстрировал текст. «Слышите ли гул сотысячной толпы?.. Идут, идут, и пламя факелов дымно мечется над ними...» И мы слышим гул сотен тысяч тяжелых шагов, и мы видим багрово мечущееся по лицам пламя дымных факелов. Потом Патриций обратился к этим гулко идущим толпам с импровизированной речью, и она дышала огнем и силой

неподдельного красноречия, и Француз сказал:

— Вы будете знаменитый адвокат...

Потом мы всё съели и выпили, что привезли, потом... потом оживление ушло, как и пришло, и вдруг почувствовали, что это пока, так себе, часы стоят, маятник на полувзмахе, а настоящее где-то далеко и недоступно.

Ночь стояла такая густая и неподвижная, что в двух шагах ничего не видно было. Прогоревший костер взглядывал на нас тускло-мертвым глазом из-под пепла, а мы сидели вокруг и дожидались прилива, чтобы переехать назад.

Француз то и дело спускался к самой воде, и его сейчас же глотала темнота, и слышался голос:

— Вода подымается, скоро дойдет до лодки.

Мы стали все сносить и укладывать впопыхах на лодку, которую уже приподымала прибывающая вода. Француз разжег смолистый сук и высоко поднял над головой. Пламя буйно срывалось, роняя кипящую смолу, но, к удивлению, багровый свет его не в силах был преодолеть густо стоящей вокруг

ночи и бессильно падал у ног Француза, освещая только одну его фигуру.

— Э-э, да ведь туман, — проговорил Основа. — Садитесь.

Мы взобрались на прыгающую под ногами лодку, не видя ни лодки, ни друг друга. И тотчас же подхватило и понесло, бешеное течение прилива. Красный глаз догорающего костра мгновенно потух, одна густая, неколышущаяся тьма и такой же густой, тяжелый звук весел в воде, которые глотала эта сырая тьма.

*Ус-лы-ша-ли та-та-ры...
Ну, ду-ма-ют, не трусь!.. —*

затянул Основа, мы все подхватили, и опять отчего-то сделалось беспричинно весело, но голоса наши звучали слабо и задушенно, точно мы пели в вату.

Основа и Француз гребли. Патриций правил. Лодка толкнулась и стала.

— Что это?

— Неужели уж переехали?

— Да не может быть.

Из густой темноты мертво глянул красный

Глаз.

— Слушайте, да нас опять прибило назад.

— Это наш берег, вот и костер.

Со смехом, с шутками Патриция разжаловали из капитанов. Сел править Француз. И опять погрузились в густую черную вату. Снова глухие всплески, какие-то далекие, не наши голоса и снова толчок о невидимый берег, и сквозь тьму глядит красный глаз.

— Что же, господа, нас кружит. Отлив начинается, мы можем засесть.

Оттолкнулись. Густая, непроглядная, нешевелиющаяся, глотающая все звуки, пропитанная туманом тьма. Время шло; весла без умолку работали, но не было ни берега, ни костра, ни звука; не было нас самих, потому что даже самого себя не видно.

Время тянулось, все было то же, и все та же густая черная вата, глотающая голоса и звуки. Уже не разговаривали, не пели, только невидимо и глухо опускались весла.

— А ведь нас несет в океан!..

Это голос Француза, сейчас же поглощенный неподвижной чернотой.

— Да, судя по времени, отлив давно начал-

ся, во тьме мы слепо кружимся по реке, и нас несет, а может быть, уже и вынесло в губу.

Я черпнул за бортом холодную воду, попробовал — солоновато.

— Вода — соленая.

Все молчали, как будто трудно было говорить в облегающей черной густоте.

— Это еще ничего не доказывает — приливом много вливается в реку морской воды, и она еще не успела сбежать, — говорит Патриций, — но разве это его голос?

— Мы, может быть, еще на реке.

И опять чей-то чужой, незнакомый голос:

— А-а... вот что!..

И все густо глотающая тьма и глухой, тяжелый, глотаемый всплеск весел.

— Слушайте, господа, но ведь надо же предпринять что-нибудь, — говорю я, как будто все виноваты, — нельзя же так

— Что предпримете?.. Без компаса, без малейшей руководящей точки... Вот садитесь да гребите, вот и предпримете, — зло-насмешливо говорит Патриций.

— Нет, ничего, я сам... — голос Основы и скрип уключины: он все время гребет.

«Ах, так вот... так вот что!..» — и я широко гляжу в нерасступавшуюся таящую мглу, и в ушах стоит печальный крик чайки над пустынной водой. Не хочется ни грести, ни выбиваться из этого положения — все равно не поможешь. Я сажусь поудобнее, совершенно один, начинаю думать. Я думаю о...

— Кто это?

Около меня кто-то сидит.

— Это вы, Анна Николаевна?

— Чуть не уснула... Долго мы так будем болтаться?

Я немного недоволен — нарушается мое одиночество, мои думы. А она говорит заглушённым, глотаемым ватой голосом:

— Вот и у вас *там* такая же ночь — тихая, неподвижная, всеобъемлющая. «И примолкла темная ночка, точно и ей чудилось, что в этой странной песне что-то билось... И смолк ветер, и темные тучи спустились и еще ниже нависли...»

Как электрическая искра пронизывает меня, и я весь задрожал. Так вот что!.. Так она помнит, она декламирует!.. И я жадно, с пересохшим горлом, прислушиваюсь к музыке ее

голоса.

— «...Темная ночь неподвижно глядела на него загадочным взором ночной темноты...»

Но ее лицо?.. Только б взглянуть на ее лицо!.. Я делаю страшное напряжение: толстая коса по спине, крепко выбегающий стан из кушака, смех, голос, но я не помню ее лица. И это странно поражает: я не видел никогда ее лица. И с нечеловеческим напряжением я вглядываюсь в ее лицо. Нет, я один, как в одиночке, даже фигуры ее не вижу...

— Анна Николаевна...

Мы придвигаемся друг к другу и в темноте говорим, говорим о тысяче предметов, как будто над нами ясное небо, яркое солнце, поют птицы и говор и смех вокруг беспечной толпы.

Нет ни лодки, ни товарищей, ни холодного сурового океана, куда неудержимо нас уносит. И, должно быть, много часов прошло, потому что смутно стало брезжить вокруг. Чернота посерела. Мы дышали густым, непроницаемым туманом, по-прежнему глотавшим все звуки. С жадным напряжением всматривался я в ее лицо, но одна молочно-непрони-

цаемая белизна, да порой чудилось, как будто блестящие незнакомые глаза...

И в белой тьме нас неуклонно уносило...

Провожаем Аню. Все собрались, все пять человек: Основа, я, Француз, Патриций, Варвара. Мы стоим у самого обрыва Аня на палубе, слегка опираясь о борт.

Мы смотрим на Аню не отрываясь. Она нам улыбается, и глаза ее светятся ласково и мягко.

— Так пишите же.

— Вы же пишите. Как приедете, сейчас же пишите.

— Плетенку захватили ли?

— А шкатулку мы вам вышлем. Как кончим, сейчас же вышлем.

Это наши голоса, но что-то звенит в них, как тонко и дрожа вонзившееся острие непреодолимой печали.

И я, смеясь, говорю и махаю ей шапкой, и кто-то кричит во мне беззвучным отчаянием: «Так вот она, эта Аня!.. Вот она, этот милый товарищ...»

И мне неодолимо хочется рвануться туда — к ней. Точно катаракт сняли, и я впер-

вые увидел ее лицо, простое, милое, чистое девичье лицо, освещенное чудесными глазами.

Но ведь сейчас, через две минуты ее не будет, она скроется, быть может навсегда... Только впервые увидел ее лицо, просящее счастья, ждущее счастья... впервые...

— Вы же пишите... вы же пишите... — бормочу я, чтобы подавить беззвучно поднимающийся крик отчаяния.

И те, что стоят возле, машут и кричат ей что-то, и она машет белым платком с становящегося все меньше и меньше парохода, и уже не слышно ее голоса, только белый платок, как трепетание чайки над пустынной водой.

«Так вот оно, это милое, чудесное лицо!..»

И мы стоим и долго смотрим на пустынную реку, на которой уже ничего нет,

Угрюмо и молча идем в постылый дом, глядя в землю, а Француз с закипевшей силой говорит:

— Убегу.

— Вздор!.. Осталось всего полтора года.

— Убегу, я не могу больше.

— Да, — говорит Патриций, отвечая на

свои мысли, — жизнь не останавливается ни на одну секунду.

Да, да, и на мои мысли: взмах маятника жизни ни на минуту не прерывается, и уже ни одного дня, ни одного горького слова, ни одного радостного вздоха не воротишь.

Милое, чудесное лицо, ждущее счастья!..[2]

В НОМЕРЕ

Окно в моем номере выходит в желтую, тряющуюся вверх стену. Она вся бесчисленно чернеет окнами.

Глубоко внизу темнеет асфальт двора и ходят маленькие люди... Слева слепая, без окон, низкая стена конюшен.

Одиноко, странно искривленное, протянув голые черные сучья, среди асфальта, каменных стен бесплодно стоит чудом уцелевшее дерево, как призрак, как темное полузабытое воспоминание, неподвижное, безлистное, точно в отчаянии закрыв глаза.

У меня комод, стол, кровать, два стула, умывальник. Вдоль я могу сделать семь шагов, поперек только два, — номер длинный и узкий, как гроб. По вечерам под потолком мертвенно-сине горит электрическая лампочка.

Я как в одиночном заключении. Кругом каменная пустыня, бесчисленно перегороженная на отдельные клетушки. До меня нет никому дела, и мне нет ни до кого дела.

Эти обои, эта обстановка, это окно, выходя-

щее в тупик, стены — как в десятках таких же номеров.

Я ничего не замечаю, ни темноты, ни застоявшегося запаха в коридорах, который только бывает в гостиницах, ни безглазой стены, которая слепо, не отрываясь, всегда смотрит в мое окно. После беготни в шумном, кипящем сотнями тысяч людских жизней городе, усталый, добираюсь до номера, рад перевести дух и валюсь на кровать, не замечая ни стен, ни обоев, ни замкнутости моей одиночки.

Все поглощает людское текучее море на улицах: громады домов, из-за которых не видно ни неба, ни воздуха; дворцы, строго отражающиеся в величаво студеной реке темные крепостные стены, в молчании которых чудится замерший стон; студеные воды, сады и парки, фабричные трубы, над которыми черный дым и вечная непроходящая мгла его над всем городом.

Все так огромно, так неизмеримо с интересами, с радостями, усталостью, горем отдельной жизни, что я тону, как в водовороте.

Тут уж не до обстановки.

Я приехал добывать счастье, удачу, улыбку жизни. В тощем чемодане у меня ни платья, ни белья, ни вещей, зато целая папка рукописей.

Знаю — тернист и тесен путь выходящего на заре жизни.

Что же — буду биться, буду добывать.

Меня, без имени, плохо одетого человека, встречают по редакциям холодно, молча, пренебрежительно и... и возвращают рукописи непрочитанными. Вдобавок еще лгут, — говорят, читали. Ничего, я буду биться, — тернист и тесен путь выходящего на утре своих дней.

Какое разнообразие в этом живом уличном водовороте! У каждого свои глаза, свои мысли, своя торопливость, своя походка. Как будто и одинаково, но каждый по-своему одет. И у каждого своя жизнь.

Отчего они все так торопятся? Впрочем, и я иду, торопливо помахивая руками, — в этом бешено несущемся потоке нельзя терять ни секунды.

Когда вечером вспыхнут бесконечными огнями улицы, магазины, беспредельно рассеянные в вышине окна, понесутся слепящие

фонари карет, автомобилей, как светляки замелькают красные, зеленые, оранжевые глаза трамваев, — это волшебство.

Черно сверкает вода. Таинственны озаренные деревья. И неумирающий шорох сотен тысяч шагов висит над всем.

Точно огромный, неизмеримой силы змей кольчато ворочается по бесчисленным извилинам.

Он могуч, ибо в нем — знание, в нем — мысль, в нем — творчество, воображение, изумительная сила техники, изобретательность и неукротимая настойчивость. И я — затерянная крохотная частичка его кольца — иду радостно и победно, ибо и я — частичка этой неведомой, неизмеримой силы... Шорох сотен тысяч шагов!.. Но в нем же и торговля человеческим телом, и девочки-проститутки, и омертвелые подвалы, гноящиеся нуждой, и озлобленные огоньки бледных лиц в тысячах фабрик и заводов, и в этом озлоблении революционность.

Бесконечными огнями уходя в сияющую мглу, бегут сияющие улицы, и безгранично ворочается извилами непреодолимая челове-

ческая сила.

* * *

Я в своем номере, но я весь там с людьми, с их незасыпающей деятельностью, с их непадающей силой и напряжением. Я с ними, с безгранично разнообразными лицами.

По-прежнему стучусь в редакцию, и выходят холодно-спокойные люди и говорят, что мне там делать нечего. Ничего, труден и тесен начинающийся путь. Надо же и в их положение войти, — они задыхаются в море наплывающих отовсюду рукописей. Из ста рукописей в лучшем случае мало-мальски по-человечески написана одна, остальные девяносто девять — бред, белиберда, а прочитать-то нужно все сто.

Вот только я перестал обедать. Зато утром и вечером пью чай с колбасой и хлебом, и каждый раз мне становится беспричинно весело.

Городской шум не достигает до меня: окно выходит во внутренний двор.

Я гляжу на одинокое дерево внизу, искривленно чернеющее среди асфальта, с застывшей болью в голых узловатых сучьях.

Добьюсь же я когда-нибудь своего? Или и я утону в этом человеческом море, безумно мятущемся море, утону без следа, как будто и не жил?

* * *

Я отнес в редакцию новый рассказ и жду.

Сегодня заплатил по счету за номер. Вначале мне представляли счет через каждые три дня — не доверяли, и это раздражало. Теперь представляют через неделю, даже через десять дней, — уверились, но зато сразу опустошают мой карман. Перестал за вечерним чаем есть колбасу, один хлеб. Все равно — ночью лежу, не двигаюсь, стало быть, не требуется больших затрат на поддержание сил. Зато утром наедаюсь.

Неужели и этот мой рассказ потонет во прахе? Не может же быть!.. Послушайте: в нем плывут облака, в нем солнце, там моя родина, там загорелые степные лица, там сердце бьется...

И не коснется затаенных струн вашей души? И не задрожат сердца ваши навстречу трепещущему сердцу? Это чудовищно!..

Холодно спокойные люди сказали мне:

— Приходите через месяц!..

Но ведь их же маленькая кучка, а нас — бездны, тьмы. Ведь у них не хватит физической возможности каждого выслушать, каждого понять, каждого угадать, каждому заглянуть в душу.

Да, но я живой, мне больно, мне больно, я гибну!..

Почернелое, обнаженно искривленное дерево среди асфальта постоянно стоит перед глазами.

Я отдыхаю только в толпе. Я ухожу из номера и тону в этой чудесной людской толпе, такой неудержимо подвижной, полной непрерывно тратящейся жизненной энергии. Здесь миллионы смеха...

Они идут с серьезными лицами? Но разве каждый из них в отдельности не смеется заразительно и весело?

Здесь кипят благородные человеческие страсти и грязные звериные, здесь все — напряжение ума и воли или безудержно жадный размах наслаждения...

Они идут со сдержанными движениями и лицами.

Да, но каждый идет на свидание, и горячо бьется нетерпеливое сердце. Или идет со свиданья, утомленный, с изнеможенно разлитой по телу остывающей лаской. Или идет с напряжением неотступно преследующей его всюду мысли творчества. Или идет нести страшный рабий труд. Или идет, тайно преследуемый шпионами, на человеческую борьбу за тех, кого высасывает этот безумный труд.

Я люблю человеческую толпу, так безумно разнообразную в своем однообразии.

* * *

Попалась маленькая, на несколько рублей, работа, и я в первый раз за неделю пообедал.

В столовой много молодых, свежих лиц учащихся, студенты, студентки. Весело, оживленно колыхается говор. И никто из них не обратится ко мне, не засмеется, не протянет руки: «Ба, да это вы!..» — как будто меня и нет здесь, как будто это и не я, приехавший искать жизни, улыбки ее, борьбы ее, а пустой стул. Чудаки!..

Впрочем, все равно. Удивительно примирение ко всему относишься, когда пообеда-

ешь.

Выхожу. Что это? Не узнаю места, не узнаю домов, не узнаю шумной улицы.

Оборачиваюсь в одну сторону. Огромная, веселая, ослепительно залитая, она бесконечно уходит в сверкающую даль миллионами огней, празднично играя в сумерках еще не погасшего дня, и вся кипит живым движением.

Оборачиваюсь в другую сторону. Нет ни домов, ни улиц, ни деревьев, ни воды, ни огней. Все тонет в густой молчаливой дымчато-черной мгле тумана. Он скрадывает фронтоны, углы, лепные украшения, линии, краски, молча глотает звуки. Улица с домами и со всем, что в ней есть, точно провалилась в траурно-черный провал. Люди, лошади, извозчики, кареты бесконечно идут и едут туда и пропадают, и опять идут и едут, и опять, не наполняя, пропадают в мглистой пустоте — без границ; без конца, не слышно их голосов, шороха шагов.

Оттуда, из этой ровной поглощающей черноты, веет холодом бесконечного равнодушия. Оттуда же совершенно неожиданно

идут люди, идут нескончаемой живой вереницей. Внезапно выкатываются, мигнув красным глазом, трамваи, выбегают извозчики, и идут, идут люди.

Оттуда же зачинаются дома и плотно, плечо в плечо, тянутся и уходят в другую, яркую, озаренную живыми огнями сторону. Зачинаются и уходят вереницы огней, и говор и звон, краски и линии.

Все-таки так весело!

Сажусь в трамвай, и он, с все повышающимся, испуганно жалующимся гулом быстро побежал к траурной кайме тумана.

Огни кругом потухли. Ни освещенных домов, ни фонарей, ни движущейся толпы. В стекла вагона мрачно глядит мертвая мгла.

Вагон гремит, качается, как будто яа одном месте, среди вечной, бескрайной ночи, и отравно видеть внутри освещение, когда за черными стеклами иячего нет — один мрак без границ.

Пассажиры сидят, покачиваясь, строго — с неподвижными лицами.

Девушка — белая шея, светлые волосы, шляпа по-особенному, по-молодому. Тонкий

румянец, тоже по-особенному, по-молодому...

Я не спускаю восхищенных глаз.

«Сердце бьется тревожно и страстно...»

Она смотрит перед собой. Предлинные черные изогнутые ресницы чуть подрагивают. Сколько чистоты в линиях чистого лба, чистоты наивной, милой, влекущей.

Милая!.. Боже мой, как безумно хочется любви, озаренной, ласковой, чистой...

Чуть приподнялись ресницы, глянули такие же чистые серые глаза. Не улыбка ли на не знающих поцелуя губах?

В стеклах неохватимая чернота, и гремит и качается, как будто на месте, вагон. Все не стирается странность того, что тут лица, потолок, пол ярко озарены электричеством, а за стеклами чернота.

Я ее не знаю. Не олицетворение ли это любви, яркой и прекрасной своей неведомой чистотой, которая бывает только в юности? Отчего же так трепетно бьется сердце?

Она подымается и уходит, тонкая и стройная сзади девичьей стройностью.

Разом делается скучно и одиноко, хотя так же все внутри озарено и неизвестно, где гре-

мит и качается вагон.

Кондуктор по неискоренимой даже в этих обстоятельствах привычке возглашает в двух-
рях:

— Угол Большого и Кривой.

Я выхожу. Но откуда же он знает? Ни Большого, ни Кривой, ни домов, ни фонарей, ни освещения. Одна дымчатая мгла. Трамвай исчезает, и огни его, делаясь коричневыми, как в дыму, тают во мгле.

Куда же идти? Я делаю несколько шагов. Кругом потонул в дымной мгле целый город с многоэтажными домами, с невидимо освещенными окнами, с фонарями.

Не только туман, но и дым разостлался — першит в горле, ест глаза.

У самого моего лица вырисовывается тусклый абрис человека. Протягиваю руку — лошадиная морда, горячие ноздри дышат прямо в лицо, звук копыт. Я отскакиваю в сторону.

Голос:

— Да куда ты везешь? Где мы?

— А кто же его знает... Я почему знаю... Разве тут разберешь?

Беспомощные мерные удаляющиеся звон-

ки трамвая. Слышен треск, стоны, лошадиный храп.

— Ой-ой-ой... помогите!..

— Эй, вытаскивай... тащи его...

— Лошадь мешает... Оттаскивай ее...

Должно быть, пролетку раздробило.

Я блуждаю во мгле. Под ногами чувствую: мостовая. Хоть бы на панель попасть.

Иду с протянутыми во мгле руками. То справа, то слева голоса замирают. Осторожный стук копыт.

— Городовой!..

Но он теперь так же беспомощен, как и все.

Местами мгла чуть белеет светлеющими пятнами, точно невидимая луна с усилиями пробивается. Это несомненно фонарь. Он, наверное, надо мной, но я не найду столба.

— Мама!.. Мама!.. Мама!.. — беспомощно, тоненько, жалобно, как те котята, которых выбрасывают под плетень умирать.

То справа, то слева. Но я ничего не могу поделать. Брожу куда попало и рад, когда натыкаюсь на стены.

А ведь это дома, огромные, сверху донизу

наполненные людьми.

— Мама!.. Ма-ма!.. Ма-а-ма!.. — все тише, слабее, с звенящими потухающими слезами.

Я совершенно потерял направление. Должно быть, теперь иду по неизвестной улице. Не слышно трамвайных звонков. А может быть, прекратилось движение.

Иногда сталкиваемся с кем-нибудь живыми.

— Извините, пожалуйста.

— Да какие тут извинения!.. Не знаете, какая это улица?

— Не имею ни малейшего представления.

— Ведь это черт знает что! Вот уже два часа никак не могу попасть домой. Да уж хоть бы местность узнать.

Исчезает.

Мгла, то ровная, бесстрастная, то чуть светлеющая вверху, как туманность.

Того и гляди, попадешь в воду. Я слышу слабо — моет где-то у ног и веет сыростью.

Вот оно, непокрытое человеческое одиночество. Хоть кричи, хоть умирай, хоть тони среди сотни тысяч домов. Точно раскочились все связи.

Ага, это мост, под рукой ощупываются перила. Какой же?

Не слышно лошадиных копыт, звонков, замерло огромное движение, только такие одиночки, как я, то появляются, то исчезают в неподвижной густеющей мгле.

Судя по усталости, я брожу часа два-три. Теперь уже ночь, но ничто не изменилось, все та же нерасступающаяся густота с бледными туманностями фонарей наверху, которые сейчас же глотаются чернотой, как только делаешь шаг в сторону.

Милая девушка с белой шейкой и чистым, невинным лбом. Как я люблю ее!..

У меня от усталости ноги подгибаются. Теперь мой номер с искривленно исчахшим узловатым деревом внизу кажется раем. Если бы только добраться.

* * *

Случайно, доставая полотенце с гвоздя, глянул в потускневшее от времени, точно покрытое мелкой росой, исцарапанное надписями, засиженное мухами зеркало и остолбенел: на меня глянул бледный старик. Вялая кожа в складках, от носа и к углам опустив-

шихся губ две глубокие борозды, землистые тени под лихорадочно воспаленными и глубоко ушедшими глазами. Неужели это я? Не может быть!

Впрочем, не удивительно, — я не вижу горячего уже месяц, не ем колбасы, питаюсь одним хлебом. Не всегда даже пью чай, потому что не каждый раз подают самовар, — задолжал.

Спокойно холодные люди сказали мне: — Ваша рукопись еще не просмотрена. — Вы же сами назначили срок месяц. — Да, но вы не один же тут. У нас тысячи поступают рукописей, а читают только двое. Приходите через месяц. — И он поворачивается спиной, — ему ведь некогда.

Я шел по улице, стиснув зубы. Хорошо, еще месяц, еще месяц муки, терзаний, голода, месяц непрерывно сменяющихся отчаяния и надежды. Да и действительно ему некогда.

Я иду нахмурившись, с все так же стиснутыми зубами, глядя в землю. Город где-то далеко, огромным кольцом шумит и мелькает. Я один среди сотен тысяч домов, среди миллиона людей.

С некоторых пор они стали мне противны своим убийственным однообразием. Посмотрите на эти дома, одинаково громадные, одинаково безвкусные, одинаково примыкающие вплотную друг к другу нескончаемой лентой. И украшения, и подъезды, и окна — все одно и то же.

— А лица? Поглядите вы на них. Все идут и смотрят в одну сторону. И глаза одни и те же, и выражение, и походка, и платье — и все вышло из-под штамповального станка.

И жизнь у них страшная — все нивелирующим подобием: ночью одинаково предаются вожделениям, одинаково пьют, одинаково голодают, по-рабы работают, одинаково смеются, одинаково умирают. Страшно!..

Хотя бы улыбка, хотя бы звук, хотя бы носок сапога, хотя бы одно движение человеческой души не как у всех!

Страшный город, проклятый город!..

Светит ли солнце, идет ли дождь, белеют ли снега, все равно, день и ночь — ровная, слепая, одинаковая мгла. И в ней бродят люди, тысячи людей, бродят одинокие люди.

И я.

Из моря звуков, из неумирающего шума, движения, мелькания определяется, растет, ширится и покрывает победным гимном только одно:

— Победителей не судят!.. Не судят... не судят... не судят... не судят!..

— А-а, так не судят... да, да...

У меня кружится голова: не судят!

— Приходите через месяц.

Через месяц!..

Я до крови стиснул зубы. К вам поступают тысячи рукописей, а читают их только двое? Не имеете права на это ссылаться. Не имеете права. Трудно? Но вы пользуетесь за это почетом руководителей общественной мысли, общественных вкусов, общественного сознания. На вашу долю выпадает счастье работать не за страх, а за совесть. На вашу долю выпадает счастье выискивать жемчужины творчества, жемчужины таланта, быть может, гения.

Только не забывайте, эти поиски вы совершаете среди живых, трепетно дымящихся сердец человеческих. Не кирпичи же вы перебираете!..

Я с секунду стоял перед ним, бледный,

стиснув руки, с вздрагивающими губами, но пересилил и ушел, не сказав, — хочу испытать судьбу до конца. Ведь в ответ у них было бы одно: возвратить рукопись.

Оглядываюсь: оказывается, я стою на панели, рассуждаю вслух, размахиваю руками. Мимо проходят, оборачиваются на меня, улыбаются. Но мне все равно. Я ведь один среди тысяч зданий, среди миллионов людей.

Впрочем, я перестаю рассуждать вслух и сумрачно иду дальше, чтоб не собирать вокруг себя этих павианов.

Я не раз замечал, как среди грома, гула, голоса, стука копыт, звонков трамвая — человек идет и сам с собой разговаривает.

Негоциант в цилиндре, в безукоризненном пальто вполголоса высчитывает барыши. Старушка в салопе идет мелким шажком и рассказывает сама себе историю ссоры с дочерью. Маленький реалистик вслух переживает классное столкновение с учителем. Не одиночество ли это в море звуков и движения?

Как это я раньше не замечал?..

* * *

Я уже почти не выхожу на улицу — неза-

чем.

Целыми часами лежу на кровати и смотрю. Месяц тянется ужасно медленно.

На улицах, на площадях все меня раздражает: вечный шум, вечное мелькание, пятна человеческих лиц, непрерывная, бесконечно уходящая стена домов, испещренная окнами, вывесками, магазинами, витринами.

А ночью эти огни! Эти миллионы бесчисленных огней, которыми буквально все залито. Местами они горят кучами, как над входами в кинематографы, и назойливо, нагло лезут в глаза, мигают, слепят. Лунный, тихий, призрачный и таинственный свет в лесу теперь кажется несбыточной мечтой.

...Победителей не судят!..

Я в первый раз вижу, как тесен, молчалив и угрюм мой номер и чужд мне...

Обои покрыты пятнами не то жира, не то пота и слез человеческих.

До меня здесь перебивали тысячи людей, и каждый смеялся, приходил в отчаяние, плакал или пьянствовал, развратничал, а иные стоваривались на грабеж и убийство.

В углу крепко и хмуро вырисовывается

крюк. Может быть, не одного и не одну с него сняли.

...Победителей не судят... А сколько... побежденных прошло через этот маленький номер!

Может быть, так же изо дня в день лежал он на этой же кровати и глядел перед собой, и внизу было искривленное дерево.

Жизнь здесь идет по раз заведенному порядку.

Утром по коридору слышится топот. Торопливые мелкие шажки заведующего распределением номеров. Грузный топот носильщиков... тяжело дышат, должно быть, несут чемоданы. Усталые, мягкие шаги приехавших с утренними поездами.

Потом успокаивается. Только слышны в людской непрерывные звонки. По коридору то и дело пробегают горничные, коридорные. Звенят посудой, разносят самовары, бегают за сайками, за колбасой, молоком, сыром; относят телеграммы, письма.

То и дело в углу коридора трещит телефонный звонок, и слышится охриплый, простуженный с дороги голос:

— Да это я, я, маточка... только что приехал... целую твои ножки... В номерах... Тридцать два с главного подъезда... Да уж так стосковался... Шутишь?! Маточка моя... ну-ну-ну, сейчас переоденусь, приеду... кофейку приготовь...

Или:

— Пробку по этой цене не отдадим... как хотите... рубль с четвертью... Какой брак?... Ну, обрезаны концы... да что вы Лазаря поете...

Или:

— Только что приехали, позарез нужно двести... Да ведь не могу... поймите же... Ах, боже мой!.. Ну хорошо, вы мне пришлете полтора... И слушать не хочу, нет, нет, нет... Вот вам мой последний сказ: пятерку пришлете — и квит!..

Наконец и телефон утомился.

По коридорам тихо. Бесчисленно глядят молчаливые закрытые двери. На них только номера. За ними ничего не слышно.

Большинство жильцов разошлось по городу.

Когда изредка кто-нибудь беззвучно прохо-

дит по белеющей в полумраке коридора дорожке, на лице тоже как будто только номер, и оно молчаливо замкнуто. Все чужие друг другу, и у всех на лицах одно: победителей не судят!

День тянется ровно, уныло, как этот бесконечный коридор, по бокам которого бесчисленные двери.

На улице еще светло, а в коридоре уже зажглись огни, принося особенное впечатление ночных теней.

А когда и на улицах вспыхнут фонари и по панелям лягут густые, резкие, с синевой тени электрического света, коридор снова оживает. В комнате для прислуги изнуряющие ее звонки, звенят посудой, проносят самовары. Трещит телефон, и хриплый голос:

— Двести семь ноль один. Да. Благодарю. Кто говорит?..

Коридор оживает. Бесчисленные двери также смотрят номерами, но оттуда отрывисто доносится то смех, то громкий говор, то заглушённые фразы рояля, то причудливо переливающиеся рулады певицы.

Прислуга измученно бежит на звонки. Вхо-

дят, уходят посетители.

К двенадцати часам коридорная жизнь начинает уставать, смолкать. Немо смотрят двери. Гаснут огни. Неподвижно и мертво в далеких углах горят одинокие оставшиеся лампочки. Всюду тени, полумрак.

Только внизу, в вестибюле, бодрствует швейцар.

Ночь.

* * *

Для меня ночь и день одно и то же. Иногда я совершенно забываю, что здесь есть люди, и хожу, не слыша ни голосов, ни разговора, ни звука шагов, как будто кругом пусто и молчаливо.

Не изменяет этого ощущения и прислуга, которая приносит самовар, входит убрать комнату. На ее замкнутом лице то же, что и у всех: победителей не судят.

Даже у горничных, этих побежденных из побежденных, торгующих своим телом в этих подлых стенах, то же отвращение к побежденным.

...Еще целый месяц!..

Я долго не могу уснуть с вечера, лежу и ду-

маю. О чем? Ни о чем. Ведь все передумано.

Не думаю, а прислушиваюсь к темному, свернувшемуся тяжелым комком чувству одиночества и ненависти. Я теперь понимаю ощущение гадливости, почти злобы, когда встречаешь на улице просящих, плохо одетых в рвань, с сквозящим грязным телом людей. На бледных лицах их выражение готовности на все — убийство, грабеж, издевательство над мертвыми. И от них всегда пахнет водой.

Вот только бы подняться мне из побежденных в стан тех, кого не судят. Это — закон жизни в громадной проклятой каменной пустыне, которая бесплодно шумит вокруг.

Я берегу свою злобу, берегу свою ненависть, как присосавшихся к груди детей.

Стены моего номера очень тонки. Слышно, как там ходят, разговаривают, передвигают стулья, слышен малейший шорох.

Нет, я ничего не слышу, это я прежде слышал. Для меня немые эти тонкие перегородки, как будто это холодные стены в полтора аршина толщины. Я не знаю, кто там, чего им нужно, да и не интересуюсь... Еще целый ме-

сяц!

А я таки, верно, ослабел. Мне трудно встать с постели, да и лень, апатия, — не хочется подыматься. Уже не мучает чувство остроты голода. Как будто я давно раз навсегда победал, и теперь об этом не стоит заботиться и думать.

С вечера трудно уснуть, но когда усну, сон наваливается тяжело, темно и молчаливо, без сновидений. Стоит ровная, траурная мгла, бесконечно немая и пустынная.

Она, положим, стоит и днем, но, обманывая себя, в ней движутся, ходят, разговаривают люди, стоят дома, светит тусклое солнце. Ровная, черная молчащая мгла.

И вдруг среди ее немой черноты и пустоты холода голос:

— Слышишь?

Я вскочил с бьющимся сердцем, опираясь локтем о подушку, вслушиваюсь с расширенными зрачками.

Окно, медленно и слабо играя фосфорическим отсветом, проступает в темноте переплетом. Загораживая, едва чудится, стоит стена. А там, внизу, я знаю, искривленное, с про-

тянутыми узловыми сучьями дерево.

Но не это ударило по сердцу живой, неведомой, трепещущей болью, а заглушённые, подавляемые, должно быть, сквозь стиснутую в зубах подушку рыданья, женские рыданья за перегородкой.

Вероятно, до нее долетел шорох, когда я приподнялся, и там все смолкло.

Я затаил дыхание, не шевелюсь. Как будто теперь вопрос жизни — не подавать о себе признака.

Неловко, рука затекла, локоть онемел, но я все так же напряженно неподвижен, все так же не шевелюсь, удерживая дыхание.

Тишина. Медленно течет долгая ночь. За перегородкой затаились чьи-то подавленные рыдания.

Вероятно, там думают, что я уснул, и опять слабо, сквозь стиснутую подушку: ы... ы... ы...

Это невыносимо. Все так же не дыша, я поднимаюсь, без малейшего шороха крадусь, как вор, прикладываю ухо к перегородке. Я не знаю, кто там, знаю только, что чье-то разрывается сердце.

И вдруг осеняет воспоминание: серо-дым-

чатая мгла тумана, и в ней утонул город. Только внутри вагона ярко освещено: лица, двери, потолок и чистый девичий лоб, и белая шейка, и ясные глаза.

Да ведь это — она, это там заглушенно рыдает, она, покинутая, обобранная, с отнятой жизнью. Это она!

Я запускаю ногти и до боли прижимаю ухо к шершавым обоям.

Но что я могу сделать? Что я могу сказать ей? Как я могу помочь ей? Не предложить же стакан воды для успокоения.

Должно быть, у меня хрустнули пальцы — там опять все смолкло, и медлительно царит немая ночь с фосфорическим, отсвечивающим окном.

Я тихонько пробираюсь на кровать и, неглубоко дыша открытым ртом, прислушиваюсь. Теперь не уснешь. Буду ждать, пока посветлеет стена за окном, а в комнате проступят из редющего мрака комод, стол, умывальник.

Опять. Боже мой, что же это!.. Так же заглушенно, так же душу разрывающе. Нет, это не девушка, это не такие слезы, Ведь у нее все-

таки впереди жизнь, ведь можно залечить рану сердца, можно снова и полюбить, и дышать, и радоваться солнцу.

Нет, это не она. Это — и у меня мурашки холода ползут, — это — отнимающие всякую надежду старые материнские слезы.

И я опять крадусь, дрожа, и прикладываю ухо к жестким обоям.

Как я не угадал? Я ее никогда не видал и не увижу, но ведь она худенькая старушка, везде ходит в стареньком салопе, везде умоляет о сыне своем...

Я знаю, я знаю эти страшные слезы.

Так проходит ночь, и начинают проступать комод, стол, стулья... о сыне своем, приговоренном...

* * *

Дни идут. Я не знаю, кто мои соседи. Они меняются почти каждый день. Часто номера пустеют.

Я по-прежнему жду. Но клубок ненависти и ожесточения растаял в груди. Я опять хожу по улицам и смотрю на людей, и у каждого из них — свое лицо, свои думы, свое горе, свои слезы.

И еще я знаю, отчего можно жить в этом огромном каменном, раскинувшемся на громадное пространство городе: оттого, что люди связаны, кровно связаны друг с другом слезами, которые в тиши ночной просачиваются сквозь стены.[3]

СКИТАНИЯ

«Дьявол»

Давно меня тянуло в Черноморье.

Ехать пароходом — это значит издали и мельком увидеть чудесные берега. Лошадьми — длинно, и постоянно будешь связан. На автомобиле — все пронесется, как сон.

Я решил ехать на моем «Дьяволе», как окрестили его друзья. Он безответно и покорно, как лошадь, стоит, отжав уши руля, в ожидании далекого бега.

Я прихватываю к багажнику небольшой сак с необходимым бельем и платьем, плащ, дорожную кружку и говорю провожающим:

— При таком способе передвижения я стану вплотную и к природе и к людям. Остановлюсь, где захочу и на сколько захочу. Я все увижу, ничего не упущу, все почувствую.

А мне отвечают, недоброжелательно поглядывая на «Дьявола»:

— Не забывайте, вы один. Заболел, разбился, будете лежать на шоссе и можете сутки пролежать. Автомобиль выскочил из-за поворота, и вам — крышка. А уж если в городах да-

вят, так там им удержу нет, изувечит и улетит, доискивайся потом. Наконец, не забывайте, это — Кавказ, где разбои стали чем-то классическим. Приятно вам будет лежать где-нибудь под откосом шоссе с перерезанным горлом или пробитой грудью?

Я подумал: «Нет, неприятно».

В Новороссийске «Дьявола» торжественно вывели из багажного вагона, и, окруженный сворой скакавших за мной мальчишек, я пустил его по залитым зноем, переполненным грохотом дрогалей улицам.

Он обрадованно зататакал, и уже далеко позади — ставшие крохотными домики города, трубы элеватора, бухта, исчерченная моллом и пристанями с чернеющими всюду парходами и парусниками.

На крутом повороте мимо белой скалы «Дьявол» на всем ходу накреняется, почти ложится, как яхта с переполненными парусами, идущая левым галсом, потом вылетает и ложится на правый бок, огибая парапет, и, сколько глаз хватает, радостно кидается неохватимая синева моря.

Обгоняю идущих турок в красных фесках,

имеретин с кокетливо повязанными на головах черными башлыками, гремящие «дилижаньы» с потными бегущими лошадьми. Прогудел низким басом автомобиль, обдал бензиновой гарью и пропал — тяжелый, серый и низкий — за поворотом, лишь мелькнули струящиеся перья дамских шляп.

И опять навстречу скалы, горы, обожженные и лысые или в виноградниках. Прносятся беленькие дачки, ущелья, мостики, и бесконечно несется ослепительно белое полотно шоссе, торопливо извивающееся направо-налево, — вот-вот выскочит и сомнет из-за поворота автомобиль, — и, давая отдых на минутку, нет-нет и блеснет между гор нежная синева морского простора.

Радостное, в буйном восторге не знающее меры кавказское солнце неотвратимо палит и скалы, и белую пыль шоссе, и мою голову, — всюду тени непривычно короткие и резкие, и в созвучии ослепительно, все наливая зноем, нестерпимо звенящим трещанием трещат с деревьев цикады, — кажется, голова разорвется, — и мгновенно пропадают, смолкая, когда уносятся деревья и бегут навстречу

голые, скалы или парапет над глубоким пустынным провалом.

Мой «Дьявол» исполняет хорошо свои обязанности, — сквозь татакамье в ушах свистит, и в нос, в рот врывается горячий ветер.

«Тише, помни автомобили!»

Он послушно сдерживается, огибая повороты, всегда таинственно несущие неожиданности, и шумящий навстречу ветер падает.

Не знаю, отчего, но охватывает несказанное чувство радостной освобожденности. Старая ошелушившаяся кожа московских и петербургских впечатлений, эти все одни и те же разговоры, ненужная суета и тревоги сползают истрепавшимися клочьями. Погруженные в зной горы, синева, разогретые скалы, ослепительно мелькающая белизна шоссе, — хорошо!

Вот и цементные заводы, с неряшливо развороченною вокруг белой земле, и Геленджик с чудесным морем, облезлыми, как и в Новороссийске, лысыми, каменистыми горами, — кой-где пыльно зеленеет держи-дерево да корявый карликовый дубок. По колена в пыли бродят повязанные красным дачницы и дач-

ники с полотенцами в руках, идут на купанье или с купанья, — больше тут делать нечего.

Пропал Геленджик, провала раскинувшаяся вокруг него каменистая пустыня; горы, строго покрытые лесами, стали кругом и далеко скрыли море.

Шоссе петлями возносит меня к голубому небу. Лесистые отроги расступаются, и через широко раздавшееся ущелье открывается взбаламученное море голубых и фиолетовых гор. Царство дремучих лесов да зверя, — человек вкраплен, как в россыпях золотые песчинки. Я еду уже много часов и почти никого не встречаю.

Тихо. Чуть шевелится лист вековых дубов и буков, и шевелятся по шоссе сквозные золотые тени. Но «Дьявол» не ждет, и горы то раздаются голубым морем до самого края, то сурово сдвинутся узким ущельем, и с одной стороны возносится лесистая стена, с другой — головокружительно обрывается лесистый обрыв, и шоссе тоненько белеет чуть приметным карнизом.

Внизу — бурелом и едва видимая речушка. Но навороченные камни и широкое, теперь

сухо белеющее намытой галькой каменное ложе говорят, какая она бешеная, когда хлынут с гор дождя.

Пора и отдохнуть. «Дьявол», обжигая, дышит раскаленными цилиндрами, — не дотронешься.

Приворачиваю к беленькому домику сторожки.

Все то же: измученное бабье вековечное лицо, куча детей, строгое, ставшее лесным, лицо мужика. Тоскуют по «Расее».

— В этой-то благодати да тоскуете?

— Что ж!.. Там выйдешь за околицу, тут и пашенка, березка... — баба утерла углом платка покрасневшие глаза, — а тут зимой человека не увидишь. Надысь с коровой вожусь, а муж кирку набивает, а Нюрка, вот эта самая, за шашой зараз сидит, из цветов венки плетет, глядь, а из лесу медведь — шасть к ней. У меня ноги отнялись, а мужик только глазом делает — не ворочайся! Нюрка белая, как стена, и как держала, так держит цветочек, а медведь ее обнюхал, обнюхал, сел, почесал пузе лапой и ушел в лес.

— Он мне и цветочки обнюхал, — говорит

девочка с черными, как вишенки, глазами.

— Одолевают?

— Медведь тут добер. Придет ночью во двор, ежели кадка с водой — опрокинет, воду разольет, ведра раскатает по двору, погремит-погремит и уйдет. А вот свиньи, чего ни посадишь, придут, все сожрут — и не укараулишь.

Наваждение

Я еду широкой долиной. Справа густые леса, слева пустыри, поросли по вырубленным местам.

Ремни, прихватывающие чемодан, ослабели, я чувствую, как качается на ходу мой «Дьявол». Это опасно. Слезая посреди пустынного раскаленного склоняющимся солнцем шоссе, становлю «Дьявола» на ноги и подтягиваю ремни.

Усиливая зной, с звенящим остервенением трещат цикады, — голову начинает ломить, — и, словно надорвавшись, слабеют; тогда я слышу тишину леса, гор, чувствую, что я совершенно один.

А солнце, — оно уже над лесом, но царственно поет: «Благословенны вы, леса!..»

Уже сколько я еду, уже сколько впитываю торжественность этого гимна, и опять он поражает новизною и величавой необычайностью.

И вдруг в него тоненько-тоненько, как комариное пение, вцепляется голос:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Смутно и неясно, как во сне, — и расплывается и гаснет среди молчащих лесов, как во сне.

Почудилось?

Цилиндры пышут, никак не остынут, поработали-таки. Пусть отдохнут.

И вдруг опять в этой пустыне, где ни одного человека, далекий, тоненький, глотаемый простором и лесами голос:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Женский голос — смутный, как сон.

Что за чудеса! Уж не галлюцинирую ли? Солнце перевалило черту зенита, стоит над лесом, уж не сможет родить кошмара, наполняя голову кровавым туманом.

И опять:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Неизъяснимая тревога наполняет. Ведь —

никого; ни малейшего намека на жилье. Откуда же этот голос, вернее — намек на далекий девичий голос. Не отдавая себе отчета, я торопливо беру за руль все еще пышущую теплом машину, откатываю к обочине, ставлю у самой канавы.

В ту же секунду в конце шоссе, которое без изгиба, как стрела, впилось в далекие лесистые горы, засверлило в воздухе, и через минуту, отбрасывая меня сжатым воздухом, взрывом, мутно пронесся большой серый автомобиль. Я не видел людей, он пронесся пустой, и лишь в конце шоссе просверлило в воздухе, да мимо меня все еще бежали, крутятся, воронки белой пыли.

Верст полтора в час! При таком ходе нельзя свернуть, нельзя предупредить, да он и несся без предупреждения, — бесполезно.

Прислушался — вековая лесная тишина. Встал ногами на седло, поднялся во весь рост, долго вглядывался из-под козырька ладоней, все — поросли, густые и непроходимые, а за ними синеют леса, а за ними голубеют горы. Ни намека на человеческий голос, ни намека на человеческое присутствие.

Все равно. Я сложил трубкой руки, поднес ко рту и, набрав, сколько мог, в легкие сладкого лесного воздуха, закричал:

— Благодарю-у-у!..

Молчание, великое лесное молчание. И, успокаивая себя, стал возиться с машиной.

С шоссе нигде не было свертка, — тут пустыня...

Я вскочил, и отдохнувший «Дьявол» сразу взял хороший ход: та-та-та...

Шоссе побежало. С четверть часа уж я на нем мог неподвижно лежать мешком с костями, и кругом валялись бы металлические части моего «Дьявола».

Но страшно не это, страшно до мелко пробегающего по спине озноба, что — если... ничего этого не было: ни человеческого голоса, ни пронесшегося пустого серого автомобиля? И я прилегаю к «Дьяволу», даю ему волю. Он рванулся, нервно спутался в ударах поршней, потом оправился, и все ровно понеслось назад. Опять белыми петлями шоссе поползло к облакам, а в открывавшиеся ущелья горы побежали вкруговую невиданным хороводом, — те, что ближе, снизу доверху в темно-зеленом

бархате, отставали, а дальние, в голубом одеянии, неслись вперед, даже наклонившись. А по ним хороводом бежали дремучие дикие леса — без человеческого жилья, без человеческого голоса.

— Та-та-та-а-а!..

И на самом дне души тоненько, как паутинка:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Было или не было?

Украинцы

Я ехал по удивительному месту. Жили тут великаны и ушли, теперь никого нет. Великаны и устроиться хотели по-великаньи. Это, должно быть, предназначалось для входа — передняя или коридор. Стены так сошлись близко, что река внизу, стиснутая, неслась одной пеной.

А это, вероятно, зал для совещаний — он обширен и весь наполнен тишиной и таинственностью. А за поворотом, должно быть, кабинет, да так и остался недостроенным, как и все здесь. Только на краю шоссе огромное гранитное пресс-папье с двухэтажный дом, и на самой верхушке его прямо в камень вце-

пился телеграфный стаканчик и чернеет проволока. Стены одеты густым зеленым ковром, — деревья держатся на отвесе.

Ушли хозяева, стало и тихо и молчаливо. Остались одни стены, да и те поросли лесом, как травой, и местами обнаженно желтеют на заходящем солнце.

Синие тени потянулись от опустелого жилища, — солнца уже нет. В горах рано оно пропадает.

Мгла тонко стала ткаться, та обманчивая мгла, в которой ни пропастей, ни скал, а только стоят, загораживая, ровные темные стены, и вверху звезды, невиданно крупные звезды — каждая в горсти поместится, ведь тут ближе к ним.

Перевал остался позади. Становится сырее, прохладнее. Спускаюсь в долину, и раскатившегося «Дьявола» приходится все время сдерживать — рука устала.

Долина расширилась, стало просторнее и как будто виднее. Вдоль шоссе бегут плетни и изгороди. Идут коровы, незвонко позванивая: у каждой под шеей четырехугольная звякалка — лесной и горный обычай. Козы толкутся.

Тепло мигнули огоньки.

И слышится:

— Та це!

— А бодай тобі, шкура барабанна!.. геть!.. геть!..

Что за чудо! Я в России. Хаты, теснота, дивчата загоняют хворостинами коров.

Приворачиваю к жердевым воротам. Стоит мужик в холщовых портах, в рубахе, подхваченной пояском, — честь честью.

— Можно переночевать?

Не спеша чешет себе под поясом, потом в голове.

— Та шо ж, можно. Чого ж не можно?

Скрипят ворота. Втаскиваю усталого, запыленного белой пылью «Дьявола». Двор маленький, в навозе.

— Пидемо до хаты.

В чулане — теленок. В хате тесно; передний угол до полстены засыпан пшеницей.

Хозяин нагибается, любовно берет горсть, ласково вскидывает на ладони, лицо блаженно разъезжается:

— Чижолая, бог дав! Та шо я вам кажу. Годов, мабуть, с двенадцать — ох, и пшениця

уродилась, ну, золото. По речке сиялы, и зараз сиим тамо. Воскресенье, помню, як зараз. Сонечко — так, як в обид. Пийшов до рички, дай, гляну ще раз, а з утра косить. Глянув, душа радуется. Ну, пийшов до дому, пообидав тай прикурнув трошки, по праздному дилу. Ще й глаз не завел, як зашумит, як забурлит. Прибег сын: «Батя, поля нашего нема!» Побиг я, очима бурк-бурк, — ничо-го не пойму: оце, де пшениця була як золото, самый камень та галька, а ричка, як кошка бешена, цюркается, и уж у берегах бежить. Хто бачив, сказывають, горой вода шла. Повирите, оце двенадцать годив прошло, и як вспомню про пшеницю — живот болить, до чего душа ное.

Нам ставят самовар.

Старший сын собирается в ночное, а лет одиннадцати мальчишка не хочет, и бабка говорит:

— От як погляжу я тоби у зад хворостиной, та як стане он у тоби добре красный, тож не станешь брыкаться. Кожух возьми тай... — голос бабки сразу добреет, — тай пирожка вишневого положи за пазуху.

— Не пиду-у!.. — гнусавит мальчишка, за-

пихивает за пазуху пирог, берет овчинный пахучий тулуп и уходит с братом.

Молодуха-невестка, с худеньким, недоуменно остановившимся личиком первого материнства и недавнего замужества, возится у стола с посудой.

Крепкая рослая девка, с неподвижным, отсвечивающим влажным лицом, несет самовар и дышит, как запаленная лошадь, свистящим, громким, на всю комнату, дыханием.

Ее прежде дернут или ткнут — и тогда говорят:

— Гапка!

Она мычит, оборачивается, ей говорят, что нужно сделать, она радостно кивает головой и работает за пятерых, — силы-то девать некуда, а замуж никто не берет.

— К дохтору возили; говорят — от перерождения такая, и век у ней такой.

Мы с хозяином сидим под образами на лавке, едим с большой тарелки нарезанные помидоры, огурцы, потом основательно и долго пьем чай.

Крохотный ребенок, совсем голенький, лежит на спинке на коленях у бабки и неумело

мотает в воздухе ручонками, ножонками; от давно не стиранных пеленок едко пахнет, и бабка приговаривает:

— У-у, хавалер! — двадцать разов на день вымочит бабку, двадцать разов высохнешь. Хавалер голопузый!..

У матери светится счастьем худенькое личико, и даже девка радостно мычит. Все дожидаются, пока мы кончим.

А у нас «расейские» разговоры.

— Та земли нема. Кабы земли. Шо на шести десятинах сделаешь? А тут зверь одолевает: свиньи хлеб весь изроют, медведь придет — кукурузу поломае. И лис рубить не дозволяется, зараз начальство. Хоть плачь.

— Что же вы — сады? Ведь черкесы жили же?

— Сады!.. На сады капитала треба. А черкесы жили, так у него, у черкеса, по всем горам тропочки. На каждую гору тропочка. Он тут хозяин был. А нам нельзя, нам дорогу нужно, шоб арбой проехать, потому расейские, нам тесно. От шаши подался — и пропал. А с одной шашой не проживешь. А черкесы, тоже и им трудно: народ тихий, ничего, зла не бачим

от их. Им не сахар. Забило их начальство геть у горы; а тут все пусто. По лису, куда ни пойдешь, дикие яблони, груши, сливы, — ихние сады были. А теперь все одичало, заросло. Тропки забило травой да кустом, какие обсыпались, — один лис да звирь.

Долго мы вели все те же вековечные российскийские разговоры: земля, землицы, о земле, — и эти горы, леса и ущелья, это животворящее солнце, эта природа, рвущаяся от избытка производительности, не сумели переменить эти разговоры.

После нас сели пить чай бабы, молча.

Спал я великолепно на узенькой лавке, сунув под голову чемодан. Бабка неистово храпела на кровати, хозяин спал на полу у пшеницы, а из чулана доносился плач ребенка, сонное баюканье молодухи, свистящее на всю хату дыхание девки, да теленок возился. В хате — хоть топор вешай.

Раб

Все то же: ущелье сменяется ущельем, перевал за перевалом, а кругом горы, леса, оглушительно надсаживаются цикады. Временами влетаю в густую аллею свесившихся с обе-

их сторон деревьев, и от пестроты мелькающих солнечных пятен, от невыносимого, как в коридоре, оглушительно звенящего треска цикад начинаю качаться на седле. Еще упадешь! Веки набрякли, голова распухла.

Мимо осторожно проезжает автомобиль. Он странно набит людьми — сидят и впереди лицом и назад, держась друг за друга, по три человека на месте, и у шофера особенно напряженное лицо. Объезжаем друг друга.

Спускаюсь. Переезжаю великолепный железнодорожного типа огромный мост — и все другое: до далеких, едва синеющих гор открывается долина, вольным простором напоминающая покинутые места милой родины. Цикады замолчали.

Шоссе вдруг выпрямилось и без изгиба потерялось другим концом в неуловимо-синеей дали.

Горячий ветер, обгоняя, дует мне в спину и затылок. Я наклоняюсь и говорю:

— Прибавь!

«Дьявол» рванулся и радостно зататакал, а в затылок перестал дуть ветер.

— Прибавь еще!

Он наддал, и ветер загудел мне в лицо и мимо ушей.

— Можешь еще?

— «Могу».

Он залопотал так неразличимо-быстро, что я удивлялся, как у него язык поспевает. Белые шоссезные столбики, мостики, серые кучи щебня проносились мгновенными пятнами, а телеграфные столбы косо падали, как частый подсеченный лес.

Я глянул на трепещущую стрелку измерителя скорости: 58... 59... 58... 59... 60... 60...

А, так вот что: шестьдесят верст в час!.. Губы стали сохнуть.

Ветер рвется мне за шею, в горло, в рукава.

Тогда я приникаю и шепчу сухими полонившимися губами:

— Голубчик... е... ще!..

И даю ему весь газ, весь воздух... Он ничего не отвечает, но — что наполняет меня трепетно-сладостным ощущением смертельной опасности — теряет свое членораздельное таканье, и в воздухе стоит высокий напряженный одинаковый звук: ввв-у-у-у-у...

Ровный, высокий, однотонный: ввв-у-у-у-

у... И рядом чей-то, тоненький-тоненький, звенящий: дзи-и-и-и-и...

Шоссе впереди остановилось и стоит недвижимое и безумно гладкое, неподвижное и гладкое, ибо я потерял ощущение его движения.

Ввв-у-у-у-у... и ддзззи-и-и-и!.. Они пели: «Если случится, ты никогда не узнаешь, отчего это случилось: лопнула ли гайка, дрогнула ли рука, голова ли закружилась от безумного мелькания, — другие узнают, а ты никогда, никогда не узнаешь...»

Со лба капает крупный пот.

Шоссе остается все в той же смертельной неподвижности, чуть качаясь из стороны в сторону, а с боков все потеряло остроту очертаний и проносится мутное, как запыленное, — сон...

Вввву-у-у-у... и ддзззи-и-и-и...

На одну секунду, на одну крохотную секунду, не мигая опускаю глаза, — стрелка трепетно замирает: 69... 70... 69... 70... 71... Зачем мне это? Не знаю.

Становится тесно дышать.

Далекie горы вдруг выросли перед глаза-

ми, огромные, раздавшиеся, и густые леса доверху.

Я сбавил газу, сбавил еще, еще, но он не слушается, только теперь заговорил членораздельно, взлетел на один поворот, на другой, на третий, и поголубевшая долина быстро стала падать; я едва усидел на поворотах.

Затрещали цикады. Остановился.

От «Дьявола» несет нестерпимым жаром. Я ехал часа два и сделал верст сто двадцать. Достāju часы: я ехал двенадцать минут! К счетчику — сделал пятнадцать верст! А я весь в поту, и руки отваливаются.

Долина глубоко синела внизу. Сел на кучу щебня, разглядывая опаленный на ноге башмак. Подымаю глаза и... попятился: против меня на куче щебня сидит человек в белой чалме.

Протер глаза: сидит человек, и по белой повязке медленно рассасывается кровавая полоса.

Что такое? Что это? Кто вы такой?

А на душе скребет: «Приятно будет вам лежать с перерезанным горлом?»

— Что с вами случилось?

Он, не отвечая, молча мотнул головой, придерживая чалму. В десяти шагах, у самого поворота, уродливо став на дыбы и упершись спиной в скалу, темнел большой автомобиль. Руль сворочен, перед смят, два колеса валяются у парапета. Какая же силища: железо свернуто, как воск.

— Разбился?

Он опять мотнул головой, придерживая повязку, сделанную из полотенца. Нога вся забинтована изорванной простыней, рука подвязана.

Лицо молодое, в котором застывшая напряженность.

— Вы один из пассажиров?

— Я шофер. Встретился автомобиль?

— Да.

— Забрал. Мне места не было, лошадей за мной пришлют.

— Сильно голову расшибли?

Он поправил повязку.

— Нет, голова ничего, грудь вот рулем, думал, проломит.

Помолчал, облизал сухие губы.

— Чахотка будет обязательно...

— Почему же чахотка?

— Нет, это уж знаю, у нас не один так-то, отволокут; рулем в грудь — это каюк. Ну, да ничего: мамаша с папашей получают, — я застрахован.

— Может быть, я чем-нибудь помогу вам?

— Чем же вы поможете?

И поднял молодые просящие глаза, в которых начинающийся жар.

— Если б водички, все пережгло внутри.

Внизу глухо шумела река, но спуск был такой головоломный, что и за несколько часов не обернешься. Я взял кружку и пошел по шоссе. В полуверсте блестела по скале родниковая вода, набрал, принес. Он жадно выпил, запрокинув кружку, и глаза немного посвежели. Я решил остаться, пока придут лошади.

— Как случилось? Сломалось на ходу что-нибудь?

— Нет, не управился, не управился на повороте, на одну минутку оторвался мыслью, — все то же да то же, не утерпишь, наконец, — на одну секунду, а тут поворот... готово.

Он вытащил серебряный массивный порт-

сигар, странно смятый, и протянул искривленные папиросы.

— Не угодно ли?

— Спасибо, не курю.

— И портсигар вдавило.

Закурил.

— Должность наша такая. За два года пять человек пропало: одного наповал, одного искалечило, двоих помяло — в чахотке умирают, один простудился — тоже в чахотке... Поступал, так не нарадовался: семьдесят пять жалованья, квартира, с чаевыми больше ста в месяц, а теперь не чаю вырваться... Только не вырвешься, где уж! Учитель вон сколько учится, третью часть того не получает.

Он, по привычке всегда торопиться, жадно, преодолевая боль, затянулся.

— Вот оно бы ничего, только времени своего нет, никогда нету — ни днем, ни ночью, ни в праздник. Если не в езде — будь начеку, никуда нельзя отлучиться, сейчас могут вызвать: ночью ли, на заре, спишь ли, обедаешь: «Ехать!» Все бросаешь, вскакиваешь, — господа не ждут. Сначала, по первам, аж когти в руль впустишь, до того каждую извилину,

каждую ухабинку смотришь. А теперь вернулся из Туапсе, — в Сочи, из Сочи приехал, — в Гагры, вернулся из Гагр, — в Красную Поляну, приехал, — в Сухум, вернулся, — в Красную Поляну, вернулся, — опять в Красную Поляну, — до того осточертело! На поворотах дуешь, не уменьшая хода и без гудков, — не нагудишься. А сколько через это поразбилось: энтот оттуда молчком, а энтот — оттуда, а сами знаете, сколько поворотов, особенно на Краснополянском шоссе.

— Зачем же вы развиваете такую чрезмерную скорость?

— От дури. Ведь это как. Ходим мы от Сочи до Красной Поляны четыре, четыре с половиной часа — восемьдесят верст. А вот я понатужусь — да в три с половиной дойду. Господам лестно, хвастаются друг перед дружкой: «Вы во сколько доехали?» — «В четыре часа». — «А мы в три с половиной». И мне лишняя пятерка на чай перепадет, и в гараже я — молодец. Другие шоферы чем же хуже. Вот, глядите, другой дойдет в три часа. А в три часа пройти с этими закруглениями — страшно подумать. А господам нужно только, чтоб без-

опасно да скоро. Дошел, — ну, молодец! Часа в четыре утра, на зорьке, только сон сладкий разморит: «Вставай!» Вскочишь, как ополумелый. «В Ривьеру». Подашь. Выходит компания, кутили всю ночь, теперь на воздух потянуло. Выйдут, дамы в белом, смеются, веселые, в цветах, кавалеры подсаживают, и ото всех духами и ликерами пахнет. Едешь, сквозь деревья море засинеет, а там солнце станет подыматься. «Ах, прелесть!.. Ах, роскошь!..» А сами там... черт их знает, что за спиной делают, — ведь, как истукан, сидишь, не оборачиваешься. Так тут пустишь вовсю, на поворотах автомобиль только задними колесами заносит, вот-вот сорвет на закруглении и через парашют — к черту все полетим, да уж не удержишься: такую скорость дал, все одно — рюмку коньяку хлопнул, как пьяный несешься, потому знаешь, все одно, один конец неизбежно, — не сегодня, так завтра!..

Он замолчал, утомившись и поправляя все больше и больше красневшую чалму. Автомобиль, поднявшись на дыбы всей громадой, стоял у скалы, молчаливый и изуродованный. Он владел человеком.

— А ведь нас все терпеть не могут, — знаю, вся публика, которая ходит там, которую встречаешь, обгоняешь. Все должны сторониться, все боятся, оглядываются: кого крылом задел, а то и придавил, улетел — поминай, как звали. Оно, конечно... Да и сам на них с презрением смотришь...

И вдруг, наклонившись, проговорил изменившимся голосом:

— Тошнит меня...

Я сбегал за водой.

Только к вечеру приехал грек парой лошадей на длинной бричке. Раненого усадили, и бричка громко покатилась, скрывшись за поворотом.

Золотая полоска

Сколько бы раз, просыпаясь утром, ни открывал удивленных глаз, всегда и далекие сизые горы, и голубые леса, и белые скалы над шоссе, — все опять ново, опять неожиданно, точно только родилось, и радостно видишь в первый раз.

Петлями я поднимаюсь выше и выше, и на длинных стеблях блестит роса. Далеко внизу деревья, как трава, и белеют камни высохшей

речки. А на той стороне долины в голубоватой складке горы, как занесенный с вечера пушистый клочок ваты, уютно притаилось беленькое облачко. Оно будет белеть неподвижно, пока солнце не передвинется и не растают голубые тени.

«Дьявол» торопливо катится, а я поминутно отнимаю глаза от бегущего шоссе, чтобы взглянуть, чтобы не упустить лишний раз эти утренние сизые горы, это девственно белеющее облачко, эту долину, омытую росой, а когда, спохватившись, ловлю бегущее навстречу шоссе, «Дьявол», ухмыляясь, оказывается, хитро пробирается по самому краю, и по откосу далеко вниз уходят деревья. Еще б промедлил, и мы оба долго бы летели, ударяясь о стволы.

Я его быстро беру в руки, а он как ни в чем не бывало смиренно татакает.

И все-таки не утерпишь: на повороте подынешь глаза и попрощаешься с долиной, которая уходит туда, откуда сегодня выехал, и дальний конец которой уже поголубел, подернулся печалью прошлого. А из-за перевала смеющимися далями глянула новая долина,

вся — обещание, вся заставленная веселыми, молодыми горами, и радостно разгорающийся день знойно заливают их.

Я поднял глаза на одну секунду, на одну крохотную секунду, но это была лишняя секунда, и... нет шоссе, нет привычного звука правильного бега, мимо уродливо мелькнули по крутому откосу стволы буков, и — мгновенное и страшно долгое ощущение: «Пропал!..»

В ту же секунду нашей тяжестью пробиваем стену густой непроницаемой заросли. «Дьявол» болезненно вскрикивает, — должно быть, гудок придавило, — и с металлическим хрустением ложится на бок, а я с шумом, протянув над головой руки, точно бросаюсь в воду, лечу через руль, пробиваю в листве темный ход и успокаиваюсь на корнях — узловатых, переплетшихся, вымытых из земли дождевыми потоками. Прохладно и сыро, и многоножки бегают — сколопендры, что ли...

Поворочал рукой, ногой, — не только жив, но и цел.

Сколопендры, кажется, кусаются, но я рад им как отцу родному. В пяти шагах обрывает-

ся скалистый отвес, и далеко внизу краснеют груды навороченных камней.

Я радостно пролезаю назад через проделанный мною коридор: «Дьявол» лежит на боку с остывающими цилиндрами. Хватаюсь за корневище, присаживаюсь и осматриваю его раны.

— Ну, что ты наделал, черт безглазый?

А он молча говорит:

«Я весь твой, твой до последнего винтика, безгласный раб твой, но взамен требую одного: во время бега душу твою, все напряжение, все внимание твое, и тут не уступлю никому ни золотника... буду жестоко мстить...»

— Да, кто-то — господин, кто-то — раб. Кажется, два господина, два раба.

У него погнута педаль, сворочен руль, — дело поправимое. Все-таки надо вытаскивать на шоссе, но по такой крутизне выкатить немислимо. Достāju веревку, делаю лямку, захлестываю за раму, петлей перехватываю себе грудь и начинаю тащить волоком, на четвереньках, хватаясь за траву, за ветви, за каждое углубление. Пот градом.

Когда выволок и поставил на шоссе, я ка-

чался, как пьяный, а солнце перебралось через долину и бросило тени от противоположных гор. Белое облачко пропало.

Все на мне изорвано, и одна нога босая. Долго искал, прихрамывая, и, когда дотрагивался до лица, рука была в крови. Туфля оказалась на дереве, тихонько качалась на ветке, как птица.

Кое-как оправил себя и машину и покатился.

Скатился вниз. Потянулись долины. Горы в отдалении стали кругом. Мелькнули изгороди — деревня, видно, недалеко.

А солнце уже низко, — целый день потерял.

На шоссе пытит паровичок, укатывает щебень. Медленно катятся сплошные колеса-валы, после них шоссе гладкое, как стол. Из будочки выглядывает сумрачно машинист.

Человек двадцать рабочих рассыпали, разгребали и ровняли по шоссе щебенку. А несколько мальчиков гоняли лошадей в одноколках и из бочек поливали щебенку, — катки лучше вдавливают по мокрому грунту.

Через рассыпанный щебень ехать нельзя,

слезаю и веду в руках.

— Бог на помочь!

— Доброго здоровья! — доброжелательно и дружно отвечают, перестают работать, подходят, опираются на лопаты и... начинают улыбаться.

Покатываются мальчишки, разгладились складки на сумрачном лице машиниста, — хохот стоит на шоссе.

Что за чудо! Осматриваю себя, — будто все в порядке. «Дьявол» тоже ничего, хотя стоит сконфуженно. Мотоциклеты здесь не диво — у здешних инженеров есть, у некоторых техников, а велосипеды казенные — ездят мастера, десятники. В чем же дело? Хохочут неудержимо.

— Писаное яичко...

— Пегой...

— Али цаловался, барин, с кем?

— Укусила?

— Трошки нос тебе не отгрызла...

Ничего не понимаю.

— Пан, ты завсегда при зеркале, дай-ка барину.

Парень, с светлыми волосами, с тонким

польским лицом и чуть пробивающимися светлыми усиками, достает из кармана и подает мне осколок зеркала.

Гляжу, не узнаю лица: все изодрано вдоль и поперек — лоб, веки, нос, как будто драли несколько котлов сразу. Сгоряча не чувствовал боли, теперь все лицо ноет и саднит. Рассказываю, в чем дело, и сразу смех сменяется сочувствием.

— Обмыть вам надо.

— Долго ли — вышина-то, страсть!

— Из водки примочку, первое дело.

— Зараз за сороковкой можно избегать.

— Женщина одна безногая торгует.

— Безногая, а пятое дите надысь родила...

— Примо-очка... Чучело! Пущай барин сороковкой глотку себе промочит, вот и морда отойдет.

Я с благодарностью принимаю советы.

Вечером мы сидим большим кругом прямо на земле около артельного котла.

Черно и плоско с зубчато-неровным черным же краем, из-за которого играют звезды, стоят горы, и, кажется — за ними пустынно, край света, ничего нет. Долина заполнилась

тонкой мглой. Все сумрачно, неопределенно, а сторожка, как черное пустое четырехугольное пятно. Деревья тоже черные. Люди все одинаковы. Только потухающий костер красновато ложится с одной стороны на всех.

Возле меня с четырехугольным широченым лицом, с четырехугольной широченной сивой бородой грудастый старик. Лицо красное, как кумач, не то от костра, не то от кавказского солнца, не то безногая баба виновата. А глаза вытаращены, раскорячены, слопать хочет всех.

Он колотит себя в грудь кулаком, как поленом, и кричит хриплым басом, обдавая меня брызгами слюны:

— Это что они мне тыкают в ноздрю: черносотельник, черносотельник! А я вот колдунов не боюсь! Не боюсь... давай зараз мне колдуна, десятерых давай, пуцай заколдуют... а-а-а!..

Подходит ласковый старичок с волчьими глазами.

— Хлеб да соль.

— Едим да свой...

— А ты у порога постой.

— Чай садись пить со своей заваркой-сахаром, а ужинать не дадим.

— Ничего, ничего... сына пришел проведать, посижу, ничего...

Садится, обнимает острые колени, и борода у него седая, уже книзу, как у святых на иконе.

— А говорить не след, не нада, не годится...

— Об чем ты, елей?

— Об колдунах. Так-то святой был схимник, действительно святой жизни, чудеса творил. Так возгордился. «Господи, благодарю, говорит, довел меня до святой жизни!» Зараз черный услышал, тут как тут. Разверзлись небеса, явился господь во всем сиянии, и ангелы округ мреют. Упал святой на коленки. Чем бы закричать ему: «Господи!» али: «Да воскреснет бог!», а он: «Благодарю тебя, что воззрил на мои труды». А на небесах как загрохочут — не господь, а черный со ангелы был, вид только принял. Кинулись к святому, подхватили и зачали плясать и зачали плясать с ним. После уж люди нашли святого в бесчувствии. Вот она, гордыня! Не гордись. А то — колдунов нет.

Кто-то ласково:

— Дедушка, а, дедушка?

— Ась, касатик?

— Ты давно из Расеи?

— Тридцать годов, касатик.

— И-и, тридцать годов! Легко сказать... А обычая расейского не забыл?

— Какого, родимый?

— Снохачества. Чай, к снохе пришел, а буд-то к сыну...

Двадцать здоровенных глоток грохотом наполнили мглу долины — звезды замигали.

Позеленел, должно быть, старик, не видно только. Шипит:

— Охальники... Залили зенки.

А там все хохочут, отложив ложки.

— Ну, уморил, прокурат...

А дед уже поласковел:

— Водочка, ох, водочка, всему ты голова. Так-то царь одной земли... спрашивает: «Кто, говорит, верноподданный, который правильный доставит ответ, тому мешок золота».

Деловито едят, громко тянут губами горячую кашу с ложек. Кто-то высморкался пальцами и отмахнул рукой. Слушают или не слу-

шают? И у всех лица с одной стороны красные от костра.

Стала прозрачнее, нежнее ночная мгла, всех видно, каждое движение, и все смутно, неясно, затаенно. Горы, черные, непроницаемые, только неровный седловистый верх резко обрезается зазубренным краем на звездном небе.

А тишина!..

— Ну, царь и спрашивает: «Кто всех сильнее на свете?» Один говорит: «Я знаю». — «Говори». — «Ты, царь, сильнее всего, ты все можешь». Понравилось царю. А другой говорит: «Нет, говорит, царица сильнее всех, она и царю прикажет». О ту пору у царя как раз совет с министрами об войне был. Присылает царица сказать царю: пуцай царь приходит, скучилась по нем. Бросил царь министеров, побег к молодой жене. «Правду, говорит, сказал — жена сильнее всего». А тут третий подвернулся: «Нет, говорит, царь-государь, водка, говорит, сильнее всех». — «Некогда мне с тобою». Да бежал мимо поставца, глядь — графинчик. Дай, думает, одну. Выпил одну, одна другую потянула, другая третью...

— Бог любит троицу, — помогают ему из круга.

— Третья — четвертую...

— Дом без четырех углов не строится...

— ...да так и заснул. Проплакала всю ночь царица. Утром царь проснулся. «Правду, говорит, сказал человек: водка сильнее всех, сильнее меня, сильнее царицы». И наградил того человека. Вот она, водка-то.

Молча таскают ложками, а на седловине тоненько загорелась полоска, — тонко зазолотился зазубренный лесом край горы. Какая-то старая-старая, в детстве слышанная песня, не то сказка: черные головы, красно озаренные с одной стороны, вокруг черного котла. Старик о чем-то не то рассказывает, не то поет, и творится чудо на горах: зазолотилась золотая полоска.

— А то — черносотельник!

Старина наелся, положил ложку и раздвинул и повел могучими плечами, на которых небрежно наброшенный рваный кафтан.

— Живот вспучит — черносотельник! Портки порвал — черносотельник! Плюнул не туда — черносотельник! Тьфу, будь вы три-

жды прокляты, анахвемы!

И стал делать собачью ножку. Зазолотилась полоска.

— А вот вам — человека убил, — опять хрипло загредел старик, тараща на меня глаза и мотая головой на «пана». — ну, так что, по-вашему — черносотельник? — и два раза сердито затянулся и сплюнул, смутно озаряя красное измолоченное чертями лицо и рачьи, хоть и сердитые, но добродушные глаза.

«Пан» сидел, задумчиво глядя, как все больше золотился край горы.

— Без намерения.

— Это не в счет.

— Другой коленкор.

Одни встали и наотмашь помолились на зазолотившийся край, другие сидели около пустого котла, все усталые от дневной работы и сытного ужина, Хотелось покалякать.

— Как же это вы?

«Пан» повернул ко мне совсем молодое ласковое ко всем лицо и заговорил мягко:

— Шофером я был, городского убил автомобилем.

— И что же... вам?

Он печально-конфузливо улыбался, чуть приподымая брови.

— Высокопоставленную особу вез, — так три месяца просидел да диплом отняли.

— И с места поперли, только и всего...

— А то бы быть на каторге.

— Рази можно каждого черносотельником обзывать, — снова заговорил ласковый старичок, — а? Это что ж такое? И ко мне все лезут: черная сотня да черная сотня!.. Чем я нехорошо поступил?.. Это все одно — жил на свете один мудрец...

— Будет!.. Завел волынку!.. — загудели кругом.

— Ты бы проценты меньше брал...

— Всю деревню задавил... С кожей дерешь...

— Чего дожидаться? Сын тут, — он те переломает за бабу ноги.

Старик — видно — трясется весь, поднялся, пошел куда-то.

— Охальники!..

Ведь разный народ, погляжу, есть и в лаптях, но для всех слово «черносотельник», помимо узко политического значения, расплы-

лось во все, что против правды, совести, чести.

А уж брызнуло золотом по черным невидимым горам, — загорелись пятна. Ширилась золотая полоска. И вдруг почувствовалось: за горами не пустынно, а творится своя особенная жизнь.

— Я вот все в Польшу собираюсь... два брата у меня там в Плоцке. Вот...

«Пан» торопливо порылся в карманах, вытащил две карточки. Все сгрудились вокруг, хотя видели сто раз. Кто-то чиркнул спичкой: выступили два крепкие лица — одно постарше, другое помоложе.

— Один — музыкант, другой — слесарь, — проговорил любовно «пан» и грустно улыбнулся: — Затоскуешься... Хорошо у нас тут, он обвел глазами, — в Плоцке у нас — Висла...

Кругом разом все посветлело — и люди, и белая сторожка, и деревья: над краем горы, откуда все вылезали звезды, выплыла луна, чистая, ясная, оглянула долину и горы. Долина поголубела, а горы посеребрили, и густо и резко выступили черные тени промоин.

Положили меня спать в комнате машини-

ста, — он покати́л на велосипеде в соседнее поселение за пятнадцать верст.

— Кобель здоровый, — говорит старичина, докуривая собачью ножку, — и не уморится, окаянный: каждую ночь тридцать верст отмахает, — пятнадцать туда, пятнадцать назад. Армянка у него там.

Но разве уснешь в эту ночь?! В открытом окне дымчато стоят серебряные горы, лежит черная тень от чинары, а в плохо притворенные двери бубнит помощник машиниста — он с семьей помещается в чуланчике. Слышится тонкое бульканье из горлышка, позвякивают рюмки, кипит самовар, бубнит помощник, скрипит люлька, — баба качает в углу, а кум, с которым они пьют, одно:

— Да!.. вверно!.. ппрравильно!.. — трудно вяжет языком. — Я емму говорю: «Ты!..» А он мне говорит: «Ты!..» Я го...ворю: «По ка...ккому случаю?., а-а...» Он мне: «Во... вво всяком случае...»

Серебряные горы... черная тень от чинары... в щелку непритворенной двери узкий свет... бубнят эти, — и во все это, и в поскрипывание люльки неожиданно впиваются

сдавленные бабьи рыдания.

Долго бубнят, выпивают, гремят посудой, и все те же сдавленные, подавляемые рыдания.

— Цыц!.. цыц, тебе говорят!! — по столу гремит кулак, все зазвенело, запрыгало. — Поговорить с хорошим человеком нельзя... Я ему говорю: «Ты!..» — а он: «Во... ввсяком случае...»

Поскрипывает люлька. Я напряженно, приподнявшись на локте, вслушиваюсь: забила, видно, рот пленкой. Но иногда болезненное ухо ловит: «ы-ы!.. ы!..» — сердце переворачивается.

Ложусь, затыкаю уши подушкой, сон наваливается, путая все: тонким серебром задымленные горы... золотая полоска... черные головы, красно озаренные с одной стороны... кто-то рассказывает сказку, не то песню поет... бабьи ненужные слезы... старик...

Сон одолевает...

На ночлеге

Голова устала от беспощадного кавказского солнца, от неумолкаемого, оглушительно звенящего трещания цикад, от пестроты шевелящихся по шоссе золотых пятен сквозя-

щей листвы, от лиловатых, дымчатых гор, которые поднимаются почти со всех сторон.

Я жадно вглядываюсь сквозь листву в ту сторону, где нет гор, и глаз радостно улавливает далеко внизу синеву, которую не смешаешь ни с чем, — море.

Несколько поворотов шоссе, и внизу долина, а по долине белеют дома — город. Поражая новизной, из гор по долине тянется свежее полотно дороги со свежесбеленными новенькими телеграфными столбами. А на море по синеве далеким четырехугольником тянется мол, производя впечатление покоя и безопасности. Внутри чернеют суда и пароходы.

На улицах зной удушливей, и, вместо чистого горного лесного воздуха, со дворов несет скверным запахом, гнилью, отбросами.

В недоумении озираюсь на перекрестке — надо подыскать убежище на сегодня. В гостиницу по многим причинам не хочется.

Жарко, и на улице мало народу. Около меня останавливается и бесцеремонно разглядывает человек с рыжими усами, в опорках и мятом котелке.

— Али потеряли?

У него бледное, одутловатое лицо — не то от голода, не то от пьянства.

— Да вот, отдохнуть бы.

— Живым манером, это для нас — пустяк. Гранд-отель, Моску, Ривьера, — все насквозь знаем, все испытали.

— Нет... мне бы так, попроще.

Рыжие усы засияли.

— С величайшим почтением, ваш коллега... Очень дешево, очень хорошо, приятно, одним словом...

Он поцеловал кончики пальцев.

— Же ву ангажемен! [4]

Я пошел за ним. Тянулись фруктовые лавочки. Невозмутимо у входа сидели турки, персы. На базаре было грязно, завалено конским навозом, валялось тряпье, кухонные отбросы, и собаки грызли кости.

Прошли два узеньких переулочка, — если протянуть руки, достанешь с обеих сторон дома; на углу была вывеска: «Греческая кофейная». В просвете короткой улицы блеснула синева моря, чернели на берегу фелюги, неслись звонкие крики купальщиков, и знако-

мое русское:

Э-эх, ду-би-и-нуш-ка, ухнем!..

В порту стройка шла.

В кофейне рыжие усы распоряжались, как дома.

— Пару кофе и две постели — мне и им.

Нам подали две крохотные белые чашечки с черным, очень густым, очень сладким, и не разберешь, вкусным, не то противным кофе.

Несколько греков и турок играли в кости молча, сонно-апатично, с таким видом, как будто не было у них ни дела, ни заботы, ни семейства, да и в кости играют неизвестно зачем. Хозяин, с чахоточным лицом, так же молча и сонно подавал. Гудели и липли тучи мух.

— Я вам открою все тайны мадридского двора. Здесь все — не как у людей, не как у нас в России. Да разве это мыслимо! — заорал он на всю кофейню, вытаращив на меня глаза, — мыслимо?! Да у нас в России давно бы морды избили, а уж нашумелись бы! А вы гляньте на них: иной последние штаны проиграл — и ухом не поворачивает, как идолы,

сидят.

Мы выпили кофе, я расплатился.

— Теперь пойдете купаться, самый раз, а там поужинаем да и на боковую.

Море ослепило веселой игрой света, человеческими голосами, плеском, и, точно вышли из затхлого погреба, обдало крепкой, свежей морской соленостью.

— Да вы куда?! — вскинулись рыжие усы, видя, что я направляюсь к купальне. — Да разве это возможно? Ни кстась, ни молясь, гривенник испортить! Да позвольте, вот же бережок, господь на то его и создал, — чисто, благородно, аккуратно, и порточки тут же по моему. Зачем же беспокоиться? Все же, все с берега. И не то что черный люд, а даже бомон [5] и курсовые. А как вы полагаете: из них есть — рукой не достанешь даже до княжеского титула. Нет, вы уж не волнуйте себя.

Я остановился в нерешительности. В купальне действительно никого не видно. А берег, сколько глаз хватает, желтеет телами: кто лежит на горячем гравии под обжигающим солнцем, кто плещется у берега; крики, всплески — крещение Руси, и все покрывает

ослепительный блеск и игра моря.

Рыжие усы долго и, видимо, с удовольствием разглядывают свое одряблевшее тело, потом, пожимаясь от неровного гравия, с видимым наслаждением лезут в воду.

— Иные-прочие сколько денег тратят, едут сюда на курс, а мы даром, прости господи!.. Экая благодать!

Долго купался, оттирал вместо мыла мелким гравием тело и вычистил его до блеска, потом вылез и стал мыть у берега свое пропотелое белье.

— Вы чего же? Тоже бы побанили. Морская соль замечательно отъедает.

— Нет — блохи. Вы поскорей только.

По горячему гравию бесчисленно прыгают блохи и начинают отчаянно кусать.

— Блох — сила, тут их — сила, каждый же отряхнется. Я зараз.

Он разостлал выстиранное белье по камням, и под солнцем оно на глазах стало сохнуть. Такие же растянутые рубашки и сподники пятнами белели по всему берегу.

Вечером в кофейне в задней половине мы устроились на ночлег. В большой низкой —

окна над самой землей — комнате, грязной, закоптелой, с густой черной паутиной по углам, стояло штук десять кроватей с сомнительной чистоты подушками и одеялами. Каждому кровать на ночь отдавалась за тридцать копеек.

Нам отвели рядом маленькую комнатку с двумя такими же кроватями.

В растворенное низенькое окно виднелся обширный, заросший мелкой травой и залитый помоями двор. Он так же был пахуч, как все дворы здесь. Только громадно раскинувшиеся ветви, похожие каждая на отдельное наклонившееся дерево грецкий орех, насчитывающий не меньше тысячелетия, разом придавали этому загаженному месту особенно значительный характер.

Детишки хозяина, оборванные, с тонкими, красивыми бледными личиками, копались в грязи.

Ночью большая комната вся наполнилась. Греки, турки, грузины, торговцы фруктами, лесом, комиссионеры приходили молча, сонно, апатично, так же, как играли в кости, полураздевшись, молча ложились и засыпали.

Комната вся была заполнена людьми, и стояло лишь сонное дыхание.

А ведь была у них своя жизнь, интересы, заботы и страсти — только вне нашего глаза.

Я осторожно застлал кровать газетными листами и лег.

Рыжие усы уселись по-турецки на своей кровати, смутно белея в одном белье.

Полоса лунного света, ломаясь на подоконнике, ложилась на пол. Осеняя свою тенью голубоватый двор, чернел в окне, как патриарх, гигантский орех. Теперь, когда все стихло, слышно — мерно и спокойно дышит ночное море.

Не хотелось спать. Я оперся головой о локоть и спросил:

— Вы давно здесь?

— Как вам сказать, чтоб не соврать — пятый год... да, пятый год с Петра и Павла пойдёт.

— Много тут русских?

— Сделайте милость, зараз хочь карабь грузи. Нно и пьет народ, громогласно пьет! Все до ниточки. Слов нет, зарабатывают хорошо, неча гневить, нно к осени — головокру-

женье, и больше никаких. А по субботам, по воскресеньям гляньте — мертвые тела.

— Почему так?

— Да вот возьмите вашего покорного слугу. Видали, котелок? Это — для начала. Вы не смотрите на опорки. «Федор Гаврилов, на дачу нужен человек». — «Есть». Зараз же этот самый грек — теперь он мне на три семишника не поверит папирос — этот самый грек оденет меня с ног до головы: пиджак, брюки, сапоги, — через две недели я с ним до копейки расплачусь. Как же вы думаете? Ведь господа на даче разные: тому самовар, тому почисть, тому в лавочку сбегай; иной два рубля сунет, иной пятишницу, а какой и красненькую. Вот вам господом богом клянусь, у меня к концу сезона возле двухсот рублей будет! И все знают, и все веруют, до копейки со всеми расплачиваюсь. Как только объявили — Федору место: забирай безотказно, хоть на воз клади. Эх, жалко, не курите, папиросы у меня вышли. Ну, да ничего, позаимствуюсь у вас газеткой, собачью ножку скручу — махорочки у меня трошки осталось. Да вы не беспокойтесь, в окно буду выпускать.

В окно в голубоватой полосе уплывает облачками дымок. Федор Гаврилов белеет на корточках, подставляя лунному свету рыжие усы.

— А семья ваша где?

Федор Гаврилов долго молчит, и голубоватые облачка тают в окне.

— Это вы понимаете, что я — босяк. Ан нет, не за то потянули.

Он поднялся, постоял и сел на кровать.

— Босяк, это который навсегда потерялся, и уж шабаш! А я — полосой. Вот видали, нонче хоть бы рюмочку от вас предложил себе. А отчего же, от хорошего человека можно. А я ни-ни. До конца сезона рот сухой, аж потрескается. И не то что там удерживаюсь, а просто без надобности, никакого влечения. А вот сезон кончится, все разъедутся, рассчитаюсь, честно-благородно расплачусь, нно... ффью!!

Где-то далеко-далеко на море гудел пароход слабо, едва проступая, как во сне. Море теперь залито луной.

— Семья у меня есть, как же, помилуйте, — жена, четверо ребят — два сына, две дочки. Все честь честью. Одному сыну девятнадца-

тый год, женить пора, дочери на возрасте, приданое готовить надо, только...

В комнате постоянно молчание, и в окне чернело в странном соответствии с этим молчанием вековое дерево.

— ...Только я их не видал пятнадцать годов.

Стало как-то по-иному, хотя по-прежнему комната была залита лунным светом.

— Рассказать вам, так даже чудно, как оно все вышло. В деревне жил, в Рязанской губернии, у отца один был, на службу не взяли, женился, дети пошли. Да оно бы ничего, да сами знаете, какое у нас хозяйство, земли-то на полесе — с сохой не обернешься. Да. Бились, бились: неурожай, лошадь пала, корову за недомимки свели — мочи нету. Известно, собака бежит не от калача, а от бича: обсоветовались с женой, положили на том — ехать мне в столицу. И убивалась, помню, тогда женка, молодая, жалко меня; вышли за околицу, не оторву ее никак. «Знаю, говорит, не увижу тебя больше, как на смерть, провожаю». — «Что ты, говорю, дурочка!..» А сам сколько раз от телеги к ней ворочался... Да, а вышло по ее.

В столице, верите ли, неделю голова у меня разламывалась от этого самого шума: да едут, да снуют, да идут, как суслики из нор, а по вечерам огни, да магазины, да электричество, — ну, мочи моей нету. Известно — оболтус, деревенщина, неотесанность. Пока образование городское получил, семь шкур с меня слезло. Два месяца без дела сидел, у дяди в сторожке приютился — в дворниках он служил. Под конец дядя стал гнать. Да, вспомнишь, и то тяжело...

Хорошо. Выпало-таки место: в больнице, на своих харчах, пятнадцать рублей в месяц. Рад я был, — несть числа. Цельный месяц не жрал ничего, аж качаться стал, зато почти все жалованье в деревню послал. Работы было много: утром встать, дров натаскать, коридоры, лестницы прибрать, ванны вымыть, приготовить — которые фершала и доктор дежурят — платье, сапоги вычистить, а днем туда пошлют, сюда пошлют, и все бегом, все скорей. И все пользуются, видят — деревенщина, ну, каждый и норовит свою работу на меня спихнуть, а я не смею, да к вечеру на ногах не стою.

А тут еще что! Назначили меня в анатомический покой. Нанесут покойников, а фершала да доктор режут, когда студенты приходили. Спервоначально страшно было смотреть: свежуют как баранов у нас в деревне: череп распилят, мозги вывалят, грудь надрезут, легкие выпятятся горой, из пуза кишки все вытекут — чистое надругательство. Конечно, тогда был деревенский остолоп, не понимал, что это все по научным обстоятельствам; и как это господь, думаю, допускает человека по образу своему и вроде как резникам. Уйдут, мне же исправлять приходится: все вложишь на место, череп приладишь, как был, напямишь кожу, зашьешь да как глянешь на него, оторопь берет, — что из человека сделали! Принесешь гроб, запихаешь его туда.

Но хуже всего, ночевать надо было с ними, сторожить. Ежели надо отдать человека на муку — так из деревни в анатомический покой. Придешь вечером, в окнах ночь, ко гробу прилеплена свечка восковая, горит, аналойчик стоит в углу под образом, тоже свечечка теплится. Сяду я в другом углу, прижмусь, глаз с него не спускаю. А он — изуродован-

ный, рот на сторону, свечи-то моргают, и он моргает, шевелится, когда и засмеется, — рот-то неплотно. А не смотреть на него — еще страшней: дышит что-то сзади, по углам тень шевелится, сзади трогает; станешь на него смотреть — лежит. А ведь иной раз их два, три лежит. Помню, раз татарин донимал: лежит, бритый, уши растопырил и смеется. Так, покуда светать начнет, и глаз не сомкнешь.

Вылезешь зеле-оный, а работы по горло, опять не присядешь. Исхудал, шкелет-шкелетом. Думал — и не выйду живой оттуда. А надо мной смеются: дураку бог счастье посылает, а он морду воротит. Спрашиваю: «Какое счастье?» Объяснили мне, ну, я все не смел. Стал приглядываться; вижу — в городе правило: как дурак, все на нем ездят. Эге, думаю. А, между прочим, стал привыкать. Перво-наперво выучился спать с мертвяками, — они лежат, свечи мигают, а я себе храплю на всю покойницкую. А как приобвык, посмелел и образовался маленько, стал и доходы извлекать.

— Какие доходы?

— А как же. В покойницкую-то приходят

родственники, больше деревенщина неотесанная, плачут, на коленях стоят возле него, молятся, то свечечку поправят, то ручки сложат получше крестом и спрашивают: «Родимый мой, а потрошить будут?» — «Ну, как же, говорю, обязательно!» Они ко мне прямо цепляются: «Нельзя ли не потрошить?» — «Это, говорю, денег стоит». — «Сколько?» Я погляжу в потолок, поморгаю. «А так, говорю, доктору главному пятьдесят копеек; помощнику — тридцать; фершалу — пятнадцать; ну, мне за труды пятак». — «Родимый наш, да нельзя ли подешевле?» — «Что ж, говорю, с доктором торговаться? Он прогонит и без всяких начнет потрошить, а по мне все равно, как хотите». Ну, помнутся, помнутся, полезут, достанут целковый, отдадут мне. Приходят к похоронам, плачут, хотят проститься с покойником, а я их придержу в дверях и шепчу: «Доктора определили — страшенно заразная болезнь у него была; сиделка, которая глядела за ним, свалилась — тоже при смерти этой самой болезнью; по мне, как хотите, ну, только об вас беспокоюсь».

Ну, поплачут, поплачут около дверей и уй-

дут. А кабы глянули, — морда-то у него вся шитая, хоть я и стараюсь в таких случаях аккуратно зашивать, а все же видать. Ну, вот стал зарабатывать совсем хорошо, в деревню шлю аккуратно каждый месяц; там поправляются, письма пишут, весело на душе. Ну, думаю, зиму отмаячусь, на весну домой. Будет мне бесстыдничать тут. Да. И вот случилась тут оказия. Завалился как-то с вечера, намалялся за день, сразу захрапел, — так в углу у меня постеля, а на столе мертвяк лежит, — тем более в покойницкой холодно без отопления, завернулся с головой, сплю без задних ног.

Вдруг слышу — турсучит меня кто-то, а никак не проснусь, да как вскочу: думал — покойник, гляжу — вся комната в огне. Нянька, сиделка больничная, таскает меня за волосья: «Ах, ты, такой-сякой, покойника спалил!» Вскочил я, как ополоумелый, — пылает гроб, стружки под покойником горят, волосья на нем трещат. Кинулся тушить, все руки попалил, затушили с нянькой. Смрад. Свечка отклеилась да упала на покойника, а нянька во дворе за чем-то как раз пробежала, увидала, —

в окне полыхает, и прибежала будить меня. Глянул я на мертвяка. Мать ты моя, пресвятая богородица! Страшно глядеть: морда половпанная, швы — он уже потрошенный был — разъехались, зубы оскалил, глаза вытекли, волосы обгорели. Что тут делать? Кое-как, кое-как, целую ночь возился, привел в порядок. Спасибо, родных не было, поскорей крышкой накрыл, похоронили.

Да. Сдыхал беду, другая пожалуйте! Через два дня приходит нянька, говорит: «Давай трешну!» — «За что?» — «А за то: от каторги тебя ослобоняю — сейчас донесу, что ты упокойника сжег. За это каторга и даже до восьми годов». Обомлел я. Туда, сюда, — и слушать не хочет. Вынул, отдал. Что же бы вы думали? Через неделю бежит — давай пятерку. И зачала сосать, и зачала сосать, все жалованье вытягивала. Куда — в деревню забыл и посылать. Хожу, как в тумане.

Ну, сказано, пришла беда, отворяй ворота. Ночью прикорнул в своем углу, так взгрустнулось, по семье сердце болит, не сплю, часов двенадцать; в окнах черно, восковые свечи мигают, на столе два мертвяка ле-

жат. Скрипнула дверь — глядь, нянька. Заныло сердце — опять за деньгами пришла.

Нет, ничего. Кулек принесла, достает из него бутылку водки, селедку, колбасы, хлеба. Что такое?! «Именинница, говорит, я». Ну, выпили по одной, по другой, по третьей, захмелел я. Гляжу, она... это ко мне. «Не-ет, говорю, угодница, я — человек женатый, этим не балуюсь». А мо-орда у ней!.. А она... чисто осатанела баба. «Я, говорит, тебя от каторги сохранила, теперь бы гулял с тузом по Владимирке. Может, через тебя, говорит, мне самой в тюрьме сидеть за покрытие...» Ну, что тут поделаешь! Тут же мертвяки, совесть не налегает, да и жену помню — да куды-ы! ей и в рот не вьедешь.

Да. А уж к свету, уходить ей, она и говорит: «Ну, давай полтора целковых». — «Да за что?» — «А вот, говорит, закуска да водка... Мне, говорит, не из чего тебе брюхо набивать...» Отдал.

И пошло с тех пор. Вспомнить, так рвать хочется. Что вы думаете, — сбежал, просто сказать, сбежал от нее, от змеи. Долго шатался без места, проел с себя все. Про деревню за-

был и думать. После уж я узнал, деревенская остолопина, узнал — ничего бы мне и не было: нарочно, что ли, спалил? Кабы в те поры встретил суку, убил бы.

Спустил с себя все, до босяка дошел, под церквами стрелять приходилось, всего хлебнул. Наконец выпало место опять по покойницкому делу — тужилой в похоронное бюро. Напялили на меня цилиндр, черную хламиду надели. Либо под уздцы лошадь ведешь, неизвестно зачем, — она и без тебя идет, либо фонарь со свечой несешь — днем-то и так светло, а то просто шагаешь, и товарищи шагают, тя-а-а-немся через весь город. Гляжу я: идут, едут кругом, у всех дело, спешат, а мы, как остолопы. Да как глянешь под цилиндры, рожито ци-ли-индоовые! Самый народ отборный — пьяницы, деревенщина, морды-то, что топором выделаны. Ах, нос вам оттяпай! И всего получаешь по четвертаку с жмурика. Бюро большое, нас человек двадцать пять. А что на четвертак сделаешь? Надо прохарчиться, надо одеться, обуться. А там из деревни пишут, с голоду помирают, я уж сколько времени им ни копейки не шлю и письма пе-

рестал писать: что ж, голые письма: — им есть нечего. Писали они, писали, да и бросили. А мы все ходим около черных дрог в цилиндрах; идем, не поворачиваем головы и одними губами такой матерщиной друг друга загибаем — у жмурика судороги в коленках. Тот тому не додал, тот у того очередь отбил. Публика подойдет, — мы замолчим, отойдет — а мы опять под цилиндрами, да с азартом. Там впереди попы, певчие, сзади плачут, убиваются: у них — свое, у нас — свое. Главное, из-за очереди всегда склока шла — от каждого жмурика по четвертаку, вот каждому и хочется попасть. Газету научились читать — первую страницу, где богатенькие помирают. Все, бывало, сидим и мусолим, пальцами и протрем строчку. И все знаем: в какое время больше умирает народу, и где по каким домам лежат больные.

Пробился я так два года, ушел — мочи нету, впроголодь, а получишь гроши и с горя пропьешь. Ушел и опять долго без места шаландался. Тянуло в деревню, да что явлюсь в таком виде — голый и босый и простоволосый, лишний рот.

И стал ждать места, стал ждать, вот-вот собьюсь, сколочусь суммой, уеду в деревню, — будь он трижды проклят, город; запрягусь в работу без отдыха, только бы с семьей. А... вот видите — пятнадцатый год. И не заметил, как оно вышло: шаг за шагом, день за днем, час за часом, а их уж нет, пятнадцатый год...

Замолчал. В окне черный распростертый орех. На противоположной стороне потемневшего двора золотилась верхушка стены — месяц стал заваливаться к морю, в комнате не было лунного света.

— Писал, никакого ответа — разбрелись ли, померли ли, не знаю. Получил весточку: вся деревня сгорела, одни пеньки обгорелые остались. Собирался поехать, да разве от себя зависишь, — кидает тебя из города в город, с места на место, только чтоб не околеть с голоду. Вот тут четвертый год. И осталось мне от них памяти всего... — он торопливо полез в карман брюк, перекинутых через кровать, достал какую-то пачку замусоленных конвертов с протертыми углами, — ...только всего и осталось, — проговорил он, протягивая мне.

— Что это, их письма?

— Нет, это мои, я их писал, да так и не ото-
слал. На-те!

Я взял. Вынул одно замасленное, протер-
тое вдоль строчек, видно — много раз читан-
ное, и прочитал:

*«Милые мои, родные мои, бесценные
мои!..»*

Собеседник лег на кровать, отвернулся и
близко-близко придвинулся лицом к стене.

Темно стало, видно месяц совсем завалил-
ся в море. И смутно слышно — дышит море,
дышит мерно, бессонно.

Я крепко уснул.

А на другой день снова ликующее солнце,
ослепительно белое шоссе, звенящие цикады,
голубые и фиолетовые горы, сквозные золотя-
щиеся пятна, и сквозь ветви и сквозь зелень
нескончаемая синева моря.[6]

СТРАННАЯ НОЧЬ

Было не то что весело, но шумно.

Четверо сидели вокруг белевшего скатертью круглого стола, и всех спокойно и ровно освещала висячая лампа, а пятая присоседалась на диване, откинувшись в уголок, и лицо ее было в тени. Бунтовал самовар. Матово глядели промерзшие окна. На столе — нарезанная колбаса, сыр, дешевая пастила, бутылки с пивом.

Пропели, безбожно перевирая украинские слова: «Як умру, то поховайте...», «Во саду ли, в огороде...», «На севере диком...». Заспорили о значении воздухоплавания в переустройстве социальной жизни. Стали пить чай, и разговор, путаясь в смехе и шутках, прыгал с предмета на предмет, как веселый заяц.

Серые тужурки обоих студентов почти сливались с иссиня-сероватым, слоисто плававшим дымом. Проступали только косматые головы, веселые молодые глаза да безусые лица.

Хозяйка — с тем хорошеньким личиком, из-за которого берут продавщицами в будоч-

ки минеральных вод; она кончила гимназию и служила манекенщицей в огромном модном магазине, — по всякому поводу и без всякого повода заразительно хохотала, как будто говоря: «Ну да, я знаю, это вы все для меня. Я привыкла. На меня ведь все смотрят», — и шаловливо-небрежно наливала чай.

— Ну, вот вам стакан, шалун.

— Хорош шалун, у которого скоро будут усы и который уж три раза успел провалиться по анатомии.

Другой закрыл глаза, поднял слепое лицо к потолку и монотонно-упорным, дьячковским голосом заговорил, видимо, намереваясь не скоро остановиться:

— *Musculus extensor carpi ulnaris* расположен около заднего гребня локтевой кости. Веретенообразное мышечное брюшко его начинается от покрывающей мускул фасции, а ниже — от диафиза...

Хозяйка заткнула хорошенькими пальчиками ушки и замотала кудряво-пышной головкой, визжа, как маленький розовенький поросенок.

Товарищ заложил в рот говорившего отре-

занную от колбасы горбушку с кончиком просаленной веревочки.

— Вася, затормози.

Опустив тонкое задумчивое лицо над стаканом, курсистка в полосатенькой кофточке тихонько мешала ложечкой.

— Теперь в Ницце цветут розы.

Ее голос прозвучал точно издали.

— А вы были там?

— Нет.

Все засмеялись.

Акушерка сидела в сторонке, в тени высохшего, серого от пыли, пандануса, положив руки на локотники дивана и голову на руки, посмотрела на компанию, проговорила:

— Чего же вы смеетесь? У нас вон окна белые, как замороженные, мертвые рыбы глаза, и на улице дыхание стынет, а там солнце и тепло.

Она не была красива, но молода, и, когда улыбалась, все лицо освещалось тонко и умно, и было видно, какие у нее чудесные карие затененные глаза.

Студент нежно держал пальцами за веревочку и сосредоточенно выгрызал из колбас-

ной горбушки нутро.

— Ирина Николаевна известная мечтательница.

Ирина Николаевна нервно передернулась.

— Вовсе не то... Каждому ведь хочется яркого... ну, яркой жизни... да, всем...

Студент запел козлиным голосом:

Костю-ум мой при-ли-ичен и шляпа с пером.

— Ирину Николаевну обуревают романтизм. Она ждет, явится рыцарь со шляпой, в которую будет воткнуто страусовое перо.

— Ах, никого я не жду... Будет глупости...

— А по теперешним временам, увы, вывелись перья и береты... Хорошо еще, если сюртук не заложен в ломбарде, а то в пиджачках-с...

— И души такие же пиджачные, — поддержал товарищ, вытирая губы и руки от сала.

— Не понимаю, что тут смешного. Жизнь такая серая, монотонная... Идешь по улице, все одинаковы, как копеечные монеты, и все одинаково. И каждый день похож один на другой. И так хочется вырваться из этой оди-

наковости, серости... Присматриваешься к каждому дому: вот тут, должно быть, что-то особенное, какая-то особенная, яркая, непохожая жизнь, а вступишь...

Студент сделал калмыцкие глазки.

— ...с инструментами — и приходится извлекать так прозаически нового человечка на свет...

Ирина Николаевна вскочила: лицо покрылось пятнами, в голосе задрожали слезы.

— Ну да, конечно... Вы, как все... надеваться... слово «акушерка» — это неприлично... это с улыбочкой произносится.

И вдруг засмеялась зло, с истерической ноткой.

— Грязная работа, а сама мечтает о яркой жизни... ха-ха-ха!..

Она торопливо подошла к окну, глядя на улицу сквозь ничего не пропускающее замороженное окно, боясь, что разрыдается.

Все поднялись.

— Рина, ну что ты...

— Он вовсе не хотел тебя обидеть...

— Ну, стоит ли обращать внимание?..

— Ирина Николаевна, голубушка... Да я во-

все... вы меня простите... у меня и в уме не было... Я всякий труд... ведь это только идиот бы мог так... Я, ей-богу... — Студент отчаянно прижимал одну руку к груди, а другой ерошил волосы.

Товарищ пришел к нему на помощь.

— Вася не только по анатомии проваливается. Ты поешь еще колбасы — вот горбушка.

И опять все засмеялись.

Ирина Николаевна повернула ко всем смеющееся лицо, которое говорило, что она не сердится, что ей самой неловко за свою вспышку, и торопливо моргала длинными черными ресницами, незаметно стгоняя на-вернувшиеся слезы.

— Фу ты... да нет, я не сержусь... Только, право, знаете, иногда думаешь... Смотришь, большой огромный дом, такой значительный, и непременно представляется и жизнь там особенная, значительная, а войдешь, — все то же самое: папаша, мамаша, детишки, прислуга, рога наставляют, в карты играют, ссорятся, все то же монотонное, серое. Уф, я устала от этого...

Был час ночи, когда Ирина Николаевна во-

ротилась домой. Торопливо разделась и натянула одеяло до подбородка, приятно отдаваясь после студеной улицы охватывающему теплу прогревающейся постели.

Она не хотела дать себе сразу заснуть, — хотелось о чем-то помечтать, в чем-то разобраться, — и от времени до времени подымала липко опускавшиеся веки.

«Да, так о чем это я?.. Ну да, ну да, и личной жизни, и личной жизни хочется... Что же тут смешного или стыдного?..»

В ответ бесконечно монотонно и утомительно тянулись дома и все, как один, с бесчисленным множеством чернеющих окон. Об этом что-то говорил студент, только она не могла разобрать.

Один дом — он был коричневый — стал пухнуть, раздаваться, вырос и заслонил все остальное.

«Да ведь так не бывает?..» — подумала она.

Матрена, такая же сонная, медлительная, невозмутимая, как всегда, толкая, отворяла коричневый дом, но, странно, отворяла не дверь, а весь фасад.

«Да ведь так не бывает...» — не то подума-

ла, не то сказала Ирина Николаевна.

«Стало, бывает», — сердито огрызнулась Матрена; и это было убедительно. И, толкнув, отворила всю стену с окнами, водосточными трубами, парадным подъездом, с толстым швейцаром, а там оказался сконфуженный студент Вася, — на голове у него была лысина, а на лысине торчало страусовое перо.

— Ну, господа, да что это такое!.. Стой тут над ними... ведь дожидаются...

Ирина Николаевна на секунду открыла глаза, и они поймали беглым впечатлением грузные груди и голые толстые руки стоявшей над ней Матрены. Оплывающий огарок капал на постель стеарином, и бегло-трепетные тени шевелили сонное, лоснящееся лицо прислуги.

Ирина Николаевна, точно защищаясь, быстро закрыла глаза, но сейчас же села на постели.

— Хорошо.

На стене пробило два.

— Кто там?

— Какой-то одноглазый приехал.

— Скажи, сейчас.

Через полчаса, одетая, освеженная холодной водой, с знакомым настроением чего-то длительного и неизбежного, с сумкой с медикаментами в руках, Ирина Николаевна вышла в прихожую.

Со стула поднялся дожидавшийся человек.

«Странно», — подумала Ирина Николаевна, мельком глянув на него, и опять бегло взглянула.

Он стоял устало и покорно, в чудном длинном балахоне и в башлыке. Левый глаз белел слепым бельмом, полуприкрытый большим, наплывшим сверху шрамом.

При неверно скользящих тенях колеблющегося огарка Ирине Николаевне показалось — он смеется.

Она еще раз взглянула, — он не смеялся. Живой глаз глядел устало, даже грустно, но смеющиеся складки на лице, стянутые морозом около губ, лежали неподвижно, как у человека, насильственно привыкшего к постоянному смеху.

— Вы от кого?

Он молчал.

Не раздумывая, она пошла вперед, он за

нею.

Они спустились и вышли, и пустынная улица охватила их густым синим холодом, в котором медленно, больно дышалось, бело-скрипучим снегом и линией уходящих сонных домов и линией уходящих ночных огней.

Запряженная небольшая лошадь, сторбившись, неподвижно белела заиндевелым задом. Ирина Николаевна с удивлением широко раскрыла глаза: перед ней были не сани, а низкий, над самым снегом, неуклюжий ящик на полозьях.

«Странно!..» — И она удивилась, что ей приходится сегодня так часто удивляться. Нужно было садиться.

Человек в балахоне, все с тем же неподвижно смеющимся серьезным лицом и усталым глазом, сел впереди, под самыми задними ногами лошади, и тронул вожжи.

Полозья заскрипели, снег стал мелькать назад, морозно искрясь, и стали отходить один за другим фонари, провожая едущих уродливо вытягивающимися от каждого синими тенями.

Ирина Николаевна надела сумочку на руку и засунула руки в рукава, стараясь подобрать ноги, которые все волочились по снегу.

Впереди — бессонная ночь, усталость, вид бессмысленных страданий, животные крики, так непохожие на человеческий голос... И, как бы вознаграждая себя за все предстоящее, она старалась вызвать и отдаться настроению и мечтам красивого яркого, малознамого.

Ницца, розы, голубое море, солнце блещет...

Он подойдет, *он*, молодой, с тихими, проникающими глазами. Она не знает, что *он* скажет, но это — музыка, и она к ней прислушивается. И нет домов, нет бесконечно убегающей цепочки огней; не скрипит снег, не кусает лицо мороз. Тянется длительная, тихо баюкающая, далекая, молчаливая песня без слов, песня, которую не слышишь, но чувствуешь. И она улыбается, улыбается неслушающимися губами, которые стянул мороз.

И в это странное состояние полубодрствования, полугрез впивается незримо навязчивым впечатлением белый, затянутый глаз из-

под наплывшего на него шрама.

«Кто он такой и куда он меня везет? Отчего он молчит?.. Разве не бывало случаев?»

Она смотрит. Перед нею все та же, сопровождаемая поскрипыванием снега, неподвижная спина, все те же уходящие дома, те же провожающие уродливо вытягивающимися тенями фонари, — и не хочется вытаскивать согревшихся рук из рукавов, менять положение, и тает, колеблясь, морозное облачко дыхания у рта.

Она перестает думать о белом глазе, о неподвижной спине молчащего человека. И опять, вслушиваясь, отдается молчаливой, беззвучной песне о красоте, о счастье, об ином мире, который — вне этих домов, вне этих улиц, вне пошлых своей обыденностью человеческих отношений.

И вдруг, как тонкий звук лопнувшей струны, погас мир капризных красок и грез.

Она подымает глаза. Стоят на перекрестке. Лошадь, странно нагнув голову и внимательно глядя вниз, пять раз с размеренными промежутками — и в этом чувствуется преднамеренность — бьет копытом в землю, высоко

подымая правую ногу.

И опять трусит рысцой; уходят дома, мелькает бело-скрипучий снег, и неподвижна спина возницы.

Ирина Николаевна поглубже засовывает руки, но уже не может вернуть спугнутого настроения, — песня оборвалась.

С обычным впечатлением зимней ночной улицы и езды мешается, всплывая, не то тревога, не то необъяснимое ожидание, не то смутность воспоминания. И она хочет вспомнить и вынуть беспокоящую занозу.

«Белый глаз?»

Долго мелькают дома, сплошь вросшие друг в друга, потом снова разрываются уходящими в разные стороны огнями перекрестка. И по мере того как приближаются к перекрестку, вырастает неосознанная тревога.

Остановились.

Лошадь опять странно нагибает голову и мерно бьет в землю пять раз, но уже левой ногой. Спина кучера неподвижна, он не шевелится. Лошадь без понукания снова трусит рысцой.

Острым холодком пробегает по затылку

мелкая дрожь. Ирина Николаевна на секунду затаивает дыхание, глядит широкими глазами в неподвижную спину возницы.

Белый глаз, смеющиеся застывшие складки устало-серьезного лица, неподвижность и молчание этого человека, и пустынность улиц, и одинокие фонари — все ткется вокруг Ирины Николаевны в паутину чего-то особенного, имеющего свой затаенный смысл.

Как будто в первый раз она увидела — по бокам тянутся назад громадные немые, с бесчисленно и неподвижно чернеющими окнами, дома, в одно и то же время скованные сном и полные молчаливого бодрствования, иного бодрствования, чем днем. С назойливым беспокойством она стала вспоминать такое же впечатление бесконечно угрюмых домов с немо чернеющими окнами и вспомнила: это во сне, когда ее будила Матрена.

Пришла мысль откуда-то со стороны, что есть что-то страшное в жизни людей. Не в жизни отдельного человека — она такая же серая, обыкновенная и простая, — а в жизни всех людей вместе, как есть что-то страшное в этих бесчисленно и немо чернеющих окнах,

сколько бы ни ехать, хотя каждое из них такое ничтожное и простое.

«Ах, боже мой, да ведь ничего особенного!..» Но доводы ее, спокойные и ясные, шли мимо настороженно притаившегося ожидания. Было что-то, что она не умела отвергнуть.

Долго мелькали дома, сплошь вросшие друг в друга, потом снова разорвались уходящими в разные стороны огнями перекрестка.

Лошадь остановилась, медленно повернула голову, внимательно глянула из-за дуги на Ирину Николаевну и... четыре раза добродушно поклонилась ей.

— Ай!..

Тонкий, заячий крик мечется, застывая в густо синеющем морозе, залившем улицу по самые крыши. Сверху плавают большие крупно дрожащие звезды.

— Ай-яй-яй!.. Не могу, не могу больше!.. Что это!.. Послушайте, что это она делает?!

Лошадь трусит, мелькая белым крупом: все так же неподвижна спина возницы.

Это нетухнувшее представление внимательных лошадиных глаз, черных, блестящих

и выпуклых, молчаливо говорящих почти человеческим языком, наводит ужас.

«Соскочить, броситься бежать?» Но ноги отнялись, да и куда? Стоят пустые незнакомые, полные ночной серьезности улицы.

Кажется, будто стоит Матрена, каплет стеарином и, хоть страшно не хочется, а надо просыпаться. Ирина Николаевна поймала в согрившихся рукавах одну руку другой и больно ущипнула.

Этот человек так же молчит, так же неподвижен, так же не оборачивается к ней и ничего не замечает или притворяется, что не замечает, — и охватывает холодная жуть нарастающего ожидания.

«А что, если ничего нет, и все это обыкновенно?» Широко раскрывает глаза, и, крепко нажимая веки, поморгала. Все то же: режущие повизгивает снег, плывут навстречу и уходят дома. Далеко сходящиеся линии огней ломаются огнями перекрестка. Как и дома, перекресток наплывает все ближе и ближе.

А что, если и там?..

Она не позволяет себе думать и просто смотрит, как приближаются освещенные фо-

наряжи угловые дома. Ближе и ближе. Отчетливо видны переплеты на черных окнах. И с бьющимся сердцем она ждет — спокойно пройдут, и свалится тяжело опутавший глаза и голову кошмар.

Поравнялись с угольным домом. Блеснули уходящие огни боковых улиц. Лошадь остановилась, повернула голову, внимательно взглянула из-за дуги и так же радушно поклонилась Ирине Николаевне четыре раза.

— Ай! Не могу!.. Я не хочу!.. Помогите!.. Мне страшно!..

Лошадь без понукания побежала рысцой.

Ирина Николаевна выдергивает руки из нагревшихся рукавов, бросается и начинает царапаться о заиндевелую спину, отчаянно крича.

Тогда тот оборачивается к ней медлительно и неуклюже, и из заиндевелого башлыка глядит неподвижно-усталое лицо, с побелевшими бровями, все в стянутых морозом складках застывшего смеха. Он пристально глядит на ее кричащий рот, покачивает равнодушно головой, как его лошадь, и говорит сиплым с мороза голосом:

— Зараз.

И отворачивается.

Но она продолжает царапаться и кричать. Он опять оборачивается, опять глядит ей не в глаза, а в кричащий рот, и вдруг неподвижные складки расползаются ото рта и носа, и живой, настоящий смех обнажает зубы и десны.

Бегут дома, искрится снег; плавают поверху улицы в синем морозе крупные звезды.

Это так нелепо, бессмысленно, дико, что у нее все пересеклось: перестала кричать и отвалилась, забыв сунуть руки в рукава, и они стынут. Внутри все побелело, оледенело, стало хрупким и звонким, и она боялась пошевелинуться.

Где-то в стороне от этого застывшего напряжения плыли мысли.

Во сне всегда нелепости.

А если сон, так чего же бояться?

Так ведь это не сон: она видит дома, лошадь, фонари, снег скрипит и мелькает...

И во сне бывают дома, лошади, фонари, снег скрипит и мелькает...

Да, но теперь она думает и рассуждает: сон

это или не сон.

И во сне она часто решала: во сне это или не во сне.

Но отчего все так последовательно и в порядке идет: и улицы, и дома, и движения, и мысли? Все так отчетливо и ясно. Вот у нее совсем онемели пальцы на правой руке...

А разве в прежние сны не казалось, что все в порядке: и улицы, и дома, и люди, и мысли?

Да, но там были разрывы: вдруг что-нибудь странное, обрывающее.

Так ведь это, когда уже проснешься, видишь, что было обрывающее естественный порядок.

«Боже мой, сойти с ума можно!..»

Какой-то царь, рассказывают, по предложению мудреца, окунулся в воду. И там у него вся жизнь прошла; жил, любил, страдал, наконец стал седым, дряхлым стариком. А когда вынырнул, он был такой же, как и прежде, и в воде пробыл секунду.

А что, как и она откроет глаза, а этого ничего не было, ни лошади, ни улицы, ни жизни, ни скуки, ни серости, ни тяжести профессии, ни неудовлетворенной жажды личной

жизни, — открывает глаза, а она — девочка, и мама сидит и гладит ее волосы: «Проснулась, детка?»»

От напрасных усилий выбраться из лабиринта стало тягостно дышать, и она сделала над собой усилие перестать разбирать этот запутанный клубок — все равно.

В густой, косо падающей от ворот тени, как черное изваяние, в неподвижных складках огромной шубы сидит ночной сторож.

Спросить его: сон это или не сон?

Ей мучительно хотелось спросить, но это было бы так дико, что, казалось, если спросит, произойдет что-то еще более ужасное, что — если каменное изваяние медленно подымет-ся и, не раскрывая глаз, четыре раза стукнет ногой и покачает головой. Она чувствовала — тогда умрет.

Ящик, скрипя, проехал мимо.

Ирина Николаевна изумлялась тому особенному виду, который имели теперь самые обыкновенные предметы, и тому особенному в своей значительности языку, которым они говорили.

Дома пошли ниже. Потянулись заборы, пу-

стыри. Изредка попадался керосиновый фонарь, одинокий и заброшенный Призрачно белели привидениями заиндевелые деревья, таинственно меняясь по мере приближения к ним. Все смутно, морозно-мглисто, с неясно теряющимися контурами. Только звезды проступили вверху ярче.

Несколько раз сворачивали. Стали нырять по ухабам.

Привернули к забору, в котором вместо ворот зияли выломанные доски. Нахохлившись старой крышей, покосившись полустгнившим черным срубом, молча и безжизненно глядел мертвыми окнами заброшенный дом.

Все то же...

И вспомнила:

*Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет...*

Въехали под навес, прислоненный к дому. Было черно, как в могиле. Ирина Николаевна отдалась странному оцепенению, которое тянулось, как тонкое комариное пение, неосязаемое и непрерывное. «Все равно...»

В этой густой неподвижной тени вдруг появилось с десятков странных существ, которых трудно было разглядеть, и принялись, беззвучно мелькая, танцевать. Их поджарые силуэты, ниже людских, усердно прыгали на тонких ножках, прямые и молчаливые.

Возница возился около лошади, а Ирина Николаевна неподвижно, не шевелясь, сидела, поверхностно дыша. Очевидно, все так полагалось. Был какой-то свой таинственный порядок, и она пассивно отдавалась ему, как уносимая течением.

Молча плясали.

Станным незнакомым голосом человек гортанно бросил:

— Алло!..

И, как провалились, исчезли странные силуэты. Была только мгла.

— Пожалте!..

Она так же неподвижно сидела, поверхностно дыша.

— Пожалте!..

Она сидела, не шевелясь, полагая, что и это входит в цепь того странного, ее охватившего порядка, который она не должна почему-то

нарушать и противиться ему.

— Пожалте, барышня, приехали.

Странно, — это был человеческий голос и живые слова. Она чувствовала, когда тот наклонился, теплоту его дыхания с дурным запахом изо рта.

И, полагая, что в звеньях странного, ее обступившего порядка заключалось обязательное для нее требование встать, она с усилием вылезла из ящика, стала на неслушающиеся, замерзшие ноги и потянулась, зевая, стараясь проснуться, но не проснулась.

Человек открыл дверь, за которой было так же непроглядно-черно, шагнул, и она пошла за ним, протянув руки и нащупывая дорогу в крошечной тьме.

— Сюда пожалте, за мной... налево...

Она шла на голос и думала, что он теперь смеется в темноте. Осторожно ступала, натываясь на ящики, корыта, и вдруг со стены, которую задела рукой, посыпались обручи.

— Направо чан с водой, не попадите.

И слышно было, как, должно быть, в воде, кто-то «буль-буль-буль... у-у-у-у!»

Она пробиралась со странной уверенно-

стью, что больше ничему не удивится.

Скрипнула дверь, и в длинный красноватый просвет обдало нестерпимо-острым, от которого пошатнуло, зловонием, и глянула придавленная почернелым потолком, смутно освещенная коптящей лампочкой комната. На кровати — врастажку на спине — огромный мужчина, с пунцово-красным, пьяным лицом и стеклянными глазами. На нарах — мерно шевелящееся, очевидно, поднимаемое дыханием тряпье, и из него в разных местах высовывается то грязная ножонка, то детская рука, то бледное, впалое личико с обведенными синевой, сонно-закрытыми глазками. На полу — раскрытый сундук, и в нем напихано грязное одеяло, корыто с водой, и странно свившееся спиралью неподвижно-серое, вроде невиданной гигантской кишки, свернутой кольцами.

Это было мгновенное зрительное впечатление, пока она перешагнула порог. Но когда сзади скрипнула закрывшаяся дверь, из неподвижно-серой спирали с неуловимой быстротой поднялась в рост человека гигантская змея и, опираясь на свернутый хвост, кача-

лась, блестя змеиными глазками и с шипением мелькая перед самым лицом вилочками раздвоенного языка.

И хотя все это — сон, и она решила не удивляться, все-таки это было безумно. И, откинувшись и изо всех сил прижавшись спиной к пузатому полуразвалившемуся шкапу — путь в дверь преграждала качавшаяся змея, — Ирина Николаевна кричала в качающуюся змеиную пасть, кричала диким, никогда не слыханным голосом, ровно кричала, не прерывая ни на секунду крика, запустив в доски ногти, и из-под ногтей брызнула кровь.

От этого крика все в комнате пришло в движение: траурно замоталась струйка бежавшей над лампочкой к почернело-нависшему потолку копоты; моргнуло в буром стекле красное пламя; всюду засновали тени; сверху над головой гортанно-картавым, нечеловеческим голосом злорадно-обрадованно прокричало:

— Пгххожхагуйте, хгосподха, начхалось пхредстхавление...

Мужчина, с кумачово-красным, пылающим лицом, сел на кровати, глядя и не видя,

очевидно, перед собой остеклевшими глазами, и злобно гаркнул прерывисто-хриплым, как будто не ему принадлежащим басом:

— Алло... бери барьер... ну, дьявол!.. в об-
руч... вперед!.. Не задевать... тты!.. — и приба-
вил скверное ругательство.

В ту же минуту со шкапа плюхнулись на пол две совершенно голые, как лягушки, мерзкие мокрые собаки и стали танцевать перед Ириной Николаевной на задних лапках, наивно свесив набок мордочки.

— Пи-ить!.. — тонкой жалобой прозвучало в этом содоме. — Пи-ить, мама!..

Бледная головка сидевшего в тряпье ребенка, не отпускаемого сном, не держалась на тонкой шейке, сваливаясь то на ту, то на другую сторону, а глазки были закрыты, обведенные синевой, как это делают себе карандашом актрисы.

Ирина Николаевна ровно кричала перед качавшейся змеей.

С печки, кряхтя, слезла женщина с огромным, как раздувшийся пузырь, животом.

— Не бойтесь.

У нее было костлявое, измученное, как у

заработавшейся лошади, лицо и добрые, полные материнской ласки глаза.

— Не бойтесь, это — добрая насекомая.

При звуке ее голоса все успокоилось: Ирина Николаевна перестала кричать; мужчина лежал на спине, глядя в потолок мутно-стеклянными глазами, и часто дышал; тихо шевелилось на детях тряпье; собаки, как развернутая пружина, метнулись на шкаф, повозились и улеглись. Ровно, не колеблясь, коптила лампочка.

Ирина Николаевна по-прежнему прилипла к шкапу спиной, впившись в него руками и не спуская круглых глаз с качавшейся змеи.

— Да не бойтесь, — и чтоб успокоить, женщина взяла рукой змею и, как холодным шарфом, обернула ею себе шею, — вот!

В ту же секунду лицо ее перекосилось, губы повело тонкой судорогой, глаза вылезли, и она закричала, опускаясь на пол:

— О-ох!..

Ирина Николаевна тоже закричала:

— Помогите!.. Душит... задушит... ай-яй-яй!..

И опять началось.

Мужчина сидел на кровати и хрипло ругался:

— Алло!.. Бери барьер... Сволочи... убью!!

— Пхгожхагуйте, хгосподха, начхалось...

И тоненько, как паутинка:

— Пи-ить!..

Со шкапа сверзились голые собаки и стали танцевать.

Женщина перестала кричать и корчиться и, тяжело дыша, с раздувавшимися ноздрями, медленно размотала с шеи подававшуюся без всякого сопротивления змею.

— Нет... ничего... Это схватило... Господи, больно-то как... Это — кормилец наш... добрый... им только и живем... в три месяца раз кормить его можно... Три дня осталось, вот беспокоится... кроликами живыми кормим... О-о-ох!.. Купала его в корыте... Публика на него только и идет... Боа-констриктор... Не бойтесь, я его уложу...

И она нежно кольцами стала свивать огромную змею в сундук, перекрывая теплым одеялом.

Все успокоилось.

Ирина Николаевна стояла над женщиной,

точно разочарованная: кругом было просто, ясно, обыкновенно, словно сдернули пелену, — и где-то тонкое жало сожаления, в котором она бы не призналась, что все кончилось.

— Кто этот?

— Хозяин мой.

— Что с ним?

— Тиф. Пятые сутки без памяти. Выходится, нет ли?..

Она заплакала, вытирая рукавом глаза.

— А это ваши?

— Мои. Пятеро со мной, да двоих взяли на побывку; тут в приюте добрые люди устроили. Деточки-то соскучились... Дома-то хоть немножко побудут, отдохнут. А уж как я-то стосковалась: по году не видим их... — Лицо у нее сморщилось, и она задергала бровями, удерживая слезы. — По селам ездим и по городкам, — тут кто нас смотреть будет!

И вдруг застонала и закусила губы.

— Вы бы прилегли.

— Нет... ничего... отошло...

— Ну, вот что...

Ирина Николаевна стала оглядывать помещение деловым, привычным взглядом. Все, с

чем она сжилась, — ровная трудовая жизнь, не дарившая улыбок и красок, спокойная и требовательная, вступила в свои права. Как будто то, что пережила, случилось давно, когда-то, много лет назад, подернутое странной дымкой сомнения: не то было, не то нет.

А кругом так просто, обычно и грязно: черные щели разошедшихся досок потолка кишат шепчущимися тараканами; выглядывают с разных сторон из тряпья грязные ножонки и головенки тихо дышащих детей; попугай, ухватившись кривым носом за кольцо, молча покачивается над шкапом, позабыв приглашать публику; тифозный, с огромным телом, кумачово-красным лицом, тяжким и торопливым дыханием, глядит мутно-остановившимся взглядом на кишущих на потолке тараканов.

— Я здесь не могу принимать.

Губы ее были сжаты, и глаза глядели упорно, с непреклонностью профессиональной ответственности.

Глаза у женщины в ужасе раскрылись, а бледное исхудалое лицо стало еще белее.

— Господи, да как же?..

— Не могу. Ни за что... Собирайтесь, сейчас едемте.

— Да как же бросить-то: этот — больной, деточки — маленькие...

— Я здесь не могу. Поймите, — грязно, тиф, это — заранее убить вас. Я вас отвезу в приют.

— Да на кого же я их? Кто же без меня их накормит да присмотрит? — И она заплакала.

— Оставьте того человека, что привез меня.

— Ванюшку? И он замучился, другую ночь не спит, да и глухой.

— Говорю вам, здесь отказываюсь, это убийство будет, я же в конце концов отвечу. Собирайтесь сейчас же, время уходит... — И она решительно взяла свою сумочку.

— Но что ж... о господи!.. Зараз соберусь... — И стала надевать рваную длиннополую шубу.

Потом на минуту вышла и вернулась.

— Сейчас, Савушка, лошадка-то наша, обиделась, побила задними ногами ящик. Ванюшка зараз справит.

— Вы бы лучше в сани запрягли.

— То-то, что нету. Один ящик, — зверей и

детей возим.

Подошла к детям, долго смотрела жадными материнскими глазами на бледные личики, потом долго крестила каждого, целовала в разные места, все торопливо крестя маленькими крестиками. Потом подошла к мужу и долго плакала над ним, утираясь рукавом шубы, и говорила ему, неподвижно глядевшему в потолок невидящим взглядом:

— Да подымись ты, Ферапонт Митрич, подымись, кормилец ты мой... Покеда вернусь, а ты подымись... Глянь-ко, ребятеночки-то... Подымись, родимый...

Тот глядел на тараканов.

Когда вышли, уже расползлся просыпающийся зимний день, постепенно открывая заборы, деревья, редкие домишки, все захолодавшее, густо и бело запушенное инеем.

Под навесом стоял знакомый ящик на полозьях и запряженная в него ученая лошадка. Когда стали садиться, из проступившей в углу, под навесом, будочки выскочили десять собак, дрожащие, несчастные, голо выстриженные снизу, и стали усердно танцевать на задних лапах, подпрыгивая и приседая, наив-

но и покорно загнув набок мордочки.

Ирина Николаевна отвернулась.

Поехали. Больная правила сама. Лошадь трусила. Отходили заборы, пустыри, маленькие домишки, а надвигались прямые улицы, большие дома. По улицам уже начиналось движение. Останавливались и с удивлением смотрели на странный ящик, везший двух женщин.

«Этого еще не доставало...» — горько думала Ирина Николаевна и, чтобы заглушить неприятно подымавшееся чувство, проговорила:

— Кто этот, что привез меня вчера?

— На улице подобрали, сирота. Мы и выкормили.

— Отчего у него такое лицо, как будто смеется всегда?

— Представляет, так привык. Со зверями умеет искусственно перед публикой разговаривать; как выйдет, публика покато ложится, до бесчувствия, бесперечь гогочут... От этого и доход. Глухой.

— Отчего?

— С трапеции упал, уши лопнули.

На углу лошадь остановилась, нагнула голову и четыре раза стукнула копытом. На панели засмеялись.

— Да ударьте ее, — почти крикнула Ирина Николаевна, чувствуя, как краска бросилась в лицо, — не давайте ей этого делать, ударьте кнутом!

— Господи, нельзя. Обидится — и весь ящик разобьет ногами. Не привыкла она к черной работе, брезгует. Она даже на задних ногах ходить может и очень любит, чтоб публика смотрела — сахаром все кормят.

«Комедия... вот бы посмотрела вчерашняя компания...»

И, чтоб отвлечь назойливые мысли, Ирина Николаевна, стараясь не глядеть на прохожих, проговорила:

— Отчего у него глаз такой?

Лицо женщины болезненно передернулось.

— Муж выбил.

— И вас бьет?

— Бьет.

Женщина конфузливо помолчала и проговорила тихо:

— Не без этого.

И вдруг воодушевилась:

— А животную-то любит. Господи, иной аждо слезы прошибет — сам не пометь, зверя на-кормит.

Лошадь опять стояла на перекрестке и усердно выбивала ногой, а больная говорила ей просительно-заискивающе:

— Милая, иди... мне больно... Савушка, иди скорее, мне очень больно...

Снова затрусил.

— Ох, боже мой!.. Оттого и живут. У других вондохнут, а у нас по скольку лет живут. А ведь зверь-то дорогой, меньше четвертной и не ухватишься. Вон есть по две, по три сотни плачено. Как вы думаете!.. Тошно... Иди, милая.

Въехали в бойкую улицу. Она жила, вся по-витая скрипучим морозом. Шел народ; на перекрестке стояли извозчики, прохаживался городской, отворяли магазины. Ребятишки, с сумочками и с красными от мороза лицами, съезжившись, бежали в школу.

Лошадь, увидя публику, остановилась и добросовестно начала выполнять номер за

номером. На панели стали останавливаться, из магазинов выскакивали приказчики; бежали как угорелые, размахивая книжками, ребятишки.

— Гляди, ученая лошадь...

— Братцы, скорей!..

— В карете приехали...

— Из Саксонии две фрелины...

— Хо-хо-хо... ха-ха-ха!..

— Милая, иди!..

Все столпились около лошади. Она кланялась из-за дуги, стучала копытом, становилась на колени, наконец, подхваченная всеобщим вниманием, поднялась на задние ноги, потопталась, присела, сделала реверанс и стала, мотая головой, раскланиваться на все стороны.

Извозчики поползли из саней, держась за животы; ребятишки с диким визгом плясали; покатывались приказчики, купцы, прохожие; у всех вдруг пропали глазки в складках красных багровевших лиц. Самые вывески и стекла магазинов, казалось, широко ухмылялись.

И среди гомона, говора, хохота, среди высоких строгих домов с бесчисленными окнами,

среди веселого морозного звона просыпающихся церковей метнулся дикий, звериный, так знакомый Ирине Николаевне крик:

— Ох... ох... о-о-ох-ох... а-а-а...

Больная иступленно корчилась на дне ящика.

Улица безумно хохотала.[7]

МЫШИНОЕ ЦАРСТВО

Было темно, и в темноте, в противоположность сонной неподвижности, всюду стояло неуловимое белое мелькание.

Порой, странно нарушая его беззвучность, носилось еле уловимое шушуканье, нежное и странное, не людское, и тоненький, как стеклянный, сейчас же гаснущий писк. И опять белое мельканье, суетливое, торопливо-озабоченное, смутное и таинственное в предрассветной мгле.

Когда робко посветлел четырехугольник низкого окна, заваленного снаружи снегом, проступил позеленелый потолок, сбоку выпятилась огромная печь, забелела посуда на полках, и стало видно, что всюду бесчисленно снуют белые мыши, с розовыми подвижными носиками, с внимательно настороженными розово-просвечивающими ушками.

Они озабоченно мелькали по полу, взбирались на табуреты, на скамьи, на стол, становились столбиками, торопливо вытирали лапками мордочки или сбивались большим кишащим клубком, перекатывались и рассы-

пались, — и опять озабоченное торопливо-белое мелькание всюду. Была в этом своя, полная особенной значительности, нервно-торопливая бесшумная жизнь, которую точно спешили закончить до людской,

Под окном — стена влажная, бархати-сто-зеленая, точно дорогой ковер ее одевает. А возле — огромная двуспальная скрипучая, в клопиных пятнах кровать. И стоит богатырский храп.

Под пестрым из кусочков одеялом кухарка, — лицо клейкое, и два подбородка. Рядом на подушке голова пожарного, — на гвоздике блестит каска.

Это сегодня пожарного голова, а то — либо соседского дворника, либо городского, либо из мясной приказчика; — уж чья-нибудь голова да похрапывает рядом на ситцевой, в разводах, подушке.

В глубине, в трех местах вместо дверей темнеют рваные грязные занавески, и из-за них тяжелый удушливый храп, а в одном месте детское сонное дыхание.

Одна занавеска дрогнула, отодвинулась, на минуту открыв чернеющее каменное углуб-

ление, смутно проступившую кровать и живой красный глазок лампадки. Вышел человек в длиннополом кафтане, с доброй седеющей бородой. На рот густо narосли корявые деревенские усы, а волосы гладко примазаны деревянным маслом.

В добрых чуть прищуренных глазах стояло: «Ничего, все по-ладному...»

Провел шершавой ладонью, точно ночные сны снимая с лица, и, вытянув шею, стал глядеть в темный уголок, шепча и крепко прижимая сложенные мозолистые пальцы ко лбу, к животу и плечам. Стал на колени, долго смотрел в угол, все шепча, и, нагнувшись и упираясь по-стариковски руками, так что сверху выступили лопатки, прижался к каменному холодному полу. Мыши сзади любопытно становились столбиками, глядя на отвороченные, громадные подошвы его сапог, или, играя, прыгали друг через дружку, или катались, свившись в живой клубок. А когда он стал подыматься, что есть духу понеслись, вытянув хвосты, в дальний угол и, блеснув белизной в полумгле, исчезли.

Человек с доброй бородой поднялся, покре-

стился еще и ушел, надевая шапку и скрипнув дверь.

Опять тихо и неподвижно, только сонное дыхание; мышцы снова повыбрались, торопливо обнюхивая.

Совсем посветлело; по углам ясно обвисла траурная бахрома паутины. У пожарного подушкой подмяло под щеку ус, и лицо от этого стало кургузое.

За другой занавеской, такой же рваной и грязной, проснулось слабое чириканье. Кто-то сторожко и робко шуршал и возился, и опять чириканье и тоненький, тоненький голосок, а может быть, это только прозвенели упавшие капли.

Мыши, белея, взапуски носились по полу.

Подошла снаружи к окну кошка и, прислонившись усами к стеклу, долго и неподвижно глядела, подняв из талого снега лапку и поводя кончиком хвоста. Потом, показав между усами красный рот и белые зубы, жалобно промяукала и, отряхнув мокрую лапку, ушла.

Снова робкое чириканье: «Пи-пи-пи... тенннни... дзя-дзя... дзя... дзя...»

Потом шепелявящий голосок:

— Ой, не щипайся!.. а то укусю...

— Па-а-апе сказу...

— Цыть!..

— Дзяка!..

— На дво-ол...

Из-под занавески вылезает в одной распашонке двухлетний мальчонок. Перегнувшись назад от большого, выставившегося, с вылезшим пупком, живота, с трудом держа голомозгую, стариковскую с отвислым бледным затылком голову, он заковылял на кривых ножках- не управляя движением, точно пол был покатый, он неудержимо катился в одном направлении, трясясь, как желе.

Доковылял до печки, толкнулся и, так же трясясь, заковылял в угол. Доковылял до угла, толкнулся, громко шлепнул пухлым задом о холодные плиты и стал неловко мотать ручонками, ловя мышенят, прыгавших через голые стынувшие ножонки.

— Пи-пи-пи-пи!..

И, подумав, добавил:

— Дзяка!

За ним из-за занавески вышла девочка, с синими жилками на зеленовато-прозрачном

личике, с широко открытыми, спрашивающими глазками под безбровым лбом.

Она поджимала покрасневшие от каменного холода ножки, то одну, то другую. Вдруг присела и стала ловить мелькавших мимо мышей, заливаясь, точно тоненький фольговый колокольчик, да вспомнила, перебежала, мелькая ножонками, и стала у кровати на одну ножку, поджав другую.

Долго стояла и смотрела на храпевшего пожарного, не спуская глаз с полуоткрытых обсохших губ, за которыми белели зубы: на подушку набежала тягучая слюна. Потрогала пальчиком рыжий завернувшийся под щеку ус и испуганно отдернула, когда пожарный громко всхрапнул...

Поднялась на цыпочки, прижимая пальчики к холодному полу, и подергала за рубашку.

— Дядя Святтей, вставай, а то невесту пьяспись... а то саёки воёта обдеяи...

Пожарный открывает красные, как мясо, глаза, не понимая, где он и что с ним. Потом сразу спускает мозолистые, с изуродованными пальцами, мохнатые ноги и начинает быстро натягивать штаны, сапоги.

— Ах, едят те мухи с комарами — опять проспал. Ты чего же раньше не разбудила? А эта храпит, аж стены трясутся. Гора иерихонская!

Он торопливо надевает форменную тужурку, туго подпоясывается кушаком, на голову — сияющую каску и застегивает под подбородком, отчего становится совсем другой, большой и страшный.

Девочка с заплетенной косичкой все стоит на холодном полу по-гусиному: на одной ножке, и не сводит глаз.

— Дядя Святая, у тея голёва, как самавай.

Тот, как матерый гусь, охорашивается и оправляет мускулистую фигуру, тщательно расправив измятый ус.

— Какой самовар, а то и самовару далеко.

И, еще раз оправившись и выправив из тугого воротника подбриту ю красную набегающую шею, уходит. Девочка долго смотрит, не мигая, светлыми, широко открытыми, точно испуганными глазами на дверь, поджимая ножонку. Потом, глянув на бегающих мышей, торопливо приседает на корточки и начинает ловить белых мышенят, которые, провор-

но, как масляные, проскальзывают между пальцев. В полуподвале посветлело от тоненького детского смеха.

Показывается заспанный вихрастый мальчишка с курносым лицом; руки засунуты в штаны, и в карманах играет пальцами. Следом торопливо выползает из-под занавески совсем маленький, в завязанной на спине узлом рубашонке, и бойко подвигается, торопливо, пересаживая по полу покрасневший голенький зад, восторженно повизгивая.

Мальчишка хмуро стоит, смотрит, не видя, думает о своем. Потом, глянув на ребятишек, как кобчик, с лисьим проворством, нагнувшись, шлепает одного, другого и с такой же скоростью и так же ловко потаскал за косичку девчонку.

— Не трожьте мышей, не трожьте мышей, мокрохвостые!

Дружно, точно сговорившись, все трое заревели на разные, но все на тоненькие голоса.

Мальчишка хмуро стоит и смотрит, запустив руки в карманы и шевеля пальцами.

Кухарка шевельнулась, заскрипев кроват-

тью, и села, заняв много места.

— И когда вас утомон возьмет, пострелы? Ни дня, ни ночи, ни покою, ни отдыху... Ги-ги да гу-гу... Да эти мыши проклятые, чтобы они передохли! Барыня и то уж говорит: «Марфа, что у вас судак по-польски мышами воняет?» Да как же не кипятиться, когда ни свет ни заря содом подымут, ни проходу, ни проезду...

Из-за той же занавески проворно выско-чил небольшой мужичок с ярославской ухваткой и, туго покраснев, закричал фистулой:

— Мыши понадобились!.. А чем они препятствуют, мыши? Божья скотинка... живут с них люди, чего вам надо?.. А то наберет меделянов цельный полк, ажнык кровать разваливается...

— Во как! — загремела кухарка и встала с кровати, — ты что тут за антересан!.. Я за тобой считаю, с кем ты треплешься? Вот возьму да выкину на улицу совсем с мышами да с щенятами твоими...

— Накось, выкуси!.. Не доросла... Господам плачу, не тебе...

И, чувствуя необходимость ослабить на-

пряжение, проговорил заботливо:

— Базар вон отошел... до свиных полден проклаждаетесь...

Марфа, все так же понося злым голосом, взяла корзину, накинула платок и ушла, хлопнув дверью.

— А ты чего, стервец, детей бьешь!.. — зашипел мужичонка на невозмутимо стоявшего с руками в карманах мальчика.

Ребятишки продолжали визжать.

— Кто их бьет? Мышей давят... — проговорил он нагло.

Отец поймал его за волосы и замотал голову из стороны в сторону. Тот, не вынимая рук из карманов, нагнул голову, как баран, и так ловко завертел ею, что выдернул волосы, отошел к печке и стал обувать рваные сапоги.

— Опять побью, ежели будут хватать, — вызывающе пробубнил он.

А в полуподвале уже носились шлепки: шлеп... шлеп... шлеп!

Мужичонка звонко шлепал малышей.

— Цыц!.. Чтобы духу вашего не слышать!.. Цыц!..

Девочка с косичкой и голопузый мальчик

с выпятившимся пупком замолчали и стояли перед отцом, только губенки судорожно и жалобно трепетали, да глаза были полны горьких слез.

Зато маленький, сидя в луже на холодных плитах и запрокинув голову, орал во весь круглый, слюнявый, беззубый рот: «Нате, мол, вот ору — и все!»

— Возьми Ванятку, выдра голенастая! — закричал мужик, топая ногами и мотая кулаком. — На место!

Девочка схватила маленького под живот и, отогнувшись назад от тяжести, с трудом понесла его, волоча ножонки, которые оставляли по полу мокрый след. А малыш с большим пупком сам заковылял, все ускоряя шаг, как под гору.

Отец поднял и прихватил рваную занавеску. В темном каменном, без окна, углублении стояла широкая кровать, заваленная тряпьем, и несло прокисшими пеленками и давленными клопами.

Девочка, часто дыша открытым пересохшим ртом, донесла маленького до кровати и, напрягшись, последним усилием взвалила на

край, да не одолела, и он повис на краю, а она уперлась в него коленом, чтоб не упал. Маленький, выпучив глазенки, молчал, дожидаясь, так как знал, что это не наказание и не игра, а дело. И когда отдохнула, он надул животик, чтоб легче перекатиться, она его перекатила, посадила другого, влезла сама, и они весело стали ползать, барахтаться и играть на кровати, поминутно ссорясь, смеясь, визжа и прыгая. Но головенки их постоянно были повернуты туда, где было светло, просторно и бегали веселые мыши.

Из-за других занавесок вышли две бабы. Одна — коротенькая, толстененькая, нос пуговкой и набегающие вокруг рта сорокалетние морщины, но глаза были чудесные и лучились непотухающей добротой и лаской, в которых своя особая затаенная радость, и были они голубые.

Другая — костлявая, высокая, с впалой грудью, с запалыми, потускнелыми глазами, как у измученной, непоенной, жаждущей отдыха лошади.

— Мирону Василичу почтение. Забеспокоились нонче рано.

— Вишь, мыши ей помешали... Да я те за
мышь голову проломлю!.. Ей-богу, вот про-
ломлю, и никаких.

— Чего там, всякого рукомесло кормит.

— Слышь, Груня, будешь стирать, прихва-
ти пеленки. Я тогда ни то... не обижу.

— Ну-к что ж, ладно, постираю, — прогово-
рила, и морщинки вокруг глаз ласково залу-
чились.

— Васька! — злобно загредел Мирон. — За-
снул? Возьми Машку, Хрипуна да Пищуху. Ид-
ти надо, запоздались.

— У Пищухи пахалки распухли.

— О?!

Мирон тревожно запустил руку в ящик,
где огромным, теплым, живым клубком ки-
шели мыши, лаская пальцы нежной, как бар-
хат, шерсткой; все они были белы, как снег.
Повозился, вытащил мышку, торопливо
осмотрел, ощупал.

— Верно, пахалки.

Он придержал ее и, слегка нажимая,
несколько раз поводит согнутым пальцем
под горлом.

— На, отсади в больницу.

Васька взял и посадил в отдельный решетчатый ящик, где сидело несколько печальных мышей.

— Возьми из голодаевки.

Васька достал из третьего ящика с пяток мышей, посадил в свою клетку и в отцову. Мыши беспокойно бегали, торопливо нюхая воздух: их не кормили, — на голодные зубы они живее и послушнее.

В хозяйстве у Мирона было штук восемьдесят мышей. Каждую он знал, каждую называл по имени, у каждой помнил отметину, всю родословную, с каждой умел поговорить по-своему, были любимчики и такие, которых он терпеть не мог. Он знал их характеры, привычки и ухватки, болезни и нрав, и его так же ели заботы и тревоги по мышиному хозяйству, как его отца и деда заботило деревенское хозяйство.

Деревни он не знал и с шестнадцати лет сделался мышиным фабрикантом. Мышей выучивали самым разнообразным штукам: они бегали на задних лапках, держали передней лапкой хвостик, как шлейф, парами танцевали, свивались сразу по десять штук клуб-

ком, и он катал, бросал и ловил этот живой клубок. Чтоб выучить, держал мышей в голоде, но умеючи, не давая пить; целыми часами, лежа животом на холодных плитах, учил, колол горячей иголкой, давил ногтями за хвосты, — и они становились послушны каждому его движению.

Когда жена померла, все хозяйство легло на Аньку с белой косичкой. И теперь, уходя, он крикнул:

— Слышь, Анька, детей зараз покорми. Хлеб на гвозде, в сумке, а в углу бутылочка с молоком.

— Слisy, — проговорила маленькая женщина.

Фабрикант с Васькой ушли, а Груня и Глаша принялись за работу, — одна за стирку, другая зажгла керосинку и стала варить.

— Твой спит, чай? — спросила Груня, точно освещая все радостью ласки и доброты.

— Спи-ит. Когда встанет... Дай, господи, к четверем. Нонче до того захлинался, до того захлинался, всю ночь не спала

— Чего такое у него?

— Вишь, доктора говорят, жиром залился

весь, всю утробу жиром залило, и сердце, и глотку, не продышит. Доктора в одну душу говорят, чтоб меньше ел, да больше ходил, да чтоб нагибался, гимнастику, а ку-ды там! Жрет не впроворот, только и знает, что жрет за десятерых да пива, как в бочку, в себя льет, а ему нюхать нельзя, потому от пива весь обрастет жиром, даже глаза зарастут-, доктор сказывает, двадцать пять пудов будет весить, — земля перестанет держать. Да к нему и на козе не подъедешь — разве послушается? Одно — заливает глотку да жрет. А нонче ночью то храпит, а то замолчит. Господи, думаю, что ж это!.. Чиркну спичкой, лежит он гора горой, лицо с подушку, и глаз один смотрит, — сам спит, а глаз смотрит... Страшно, милая.

Она заплакала, утираясь фартуком,

— Что ж, не соглашается тебе завещать?

— И-и, приступу нет. Родне, а какая она там родня — на десятой воде кисель, — да на поминование, да на школу, вот тебе и весь сказ.

— А твоего труда нипочем?

— Да уж где там! Шестнадцать годов спину

не разгинала, за ним смотревши.

И полились бабьи жалобы.

Глаша жила со швейцаром, толстым, задыхающимся от ожирения, и на книжке у него было полторы тысячи. Приходил он со службы в четыре утра и день спал.

Нанимал темный тупичок за три рубля в месяц, выколачивая из каждого гроша, из каждой копейки, и держал еще жильца, благообразного мужичка с доброй четырехугольной бородой, торговавшего свечами в часовне.

Груня жила с Алексеем Иванычем, печником, в третьем тупичке. Она была старше, содержала его поденной работой, а он бил ее и редко выходил из дому.

— Эй, Груня! — послышался из тупичка голос и кашель — Алексей Иваныч много курил.

— Батюшки, проснулся... Зараз, зараз!.. Водки-то мало... — зашептала она и торопливо закачалась на обе стороны: ноги у нее были разбиты от сырости.

Мирона и Ваську с мышами ослепил во дворе блеск тающего снега; звенела веселая

капель, и без удержу, как оглашенные, металась и щебетали воробьи.

На крышах уже не было снега, а по краям, нагнувшись и глядя вниз, свисали длинные сосульки, играя на солнце сборчатым морщинистым льдом, — с них торопливо капало — и иногда стеклянно ломались и падали, мелко рассыпаясь. А над крышами играло голубое, весеннее не по-городскому небо.

Двор был просторный. Разбросанно стояло четыре больших старых дома, набитых квартирантами; пятый, барский, с белыми колоннами, особняк, выходил палисадником на улицу.

На заднем дворе тянулись конюшни и сараи извозопромышленника; вкусно пахло навозом, и запряженная в полке лошадь жевала у стены сено, оглядываясь через дугу.

Посредине двора чернело неведомо как уцелевшее старое корявое дерево; под ним, разговаривая, рылись куры и сидела кошка.

Мирон надулся, покраснел и что есть духу, как пятнадцатилетний, погнался. Кошка поставила хвост трубой и поскакала, прыгая через мокрые места. Мирон пустил кирпичом и

попал в низ оконной рамы.

— Ты что хулиганишь? — закричал дворник. — По участку соскучился?

Мирон еще больше надулся и покраснел.

— Потому — тварь птиц жрет.

— Мышатник!..

— Мышиный фабрикант!.. Мышиный фабрикант!.. — кричали ребяташки, бегая босиком по талому снегу.

Только на улице Мирон радостно вздохнул и потух, — тут он был у себя дома.

По расчищенным и подметенным уже панелям торопливо спешила в обе стороны бесконечная толпа.

«И откуда они только берутся», — думал Мирон, привычным, наметанным глазом лова и различая в толпе клиентов.

На минутку остановился и глянул по убежавшей далеко вниз улице. Внизу она терялась в задернутой голубоватым утренним туманом площади, на противоположной стороне выбегала и ползла вверх, слабо белея еще не сошедшим снегом и чернея зимними деревьями. Сияя, блестел далекий купол.

Поддвывая легко и играючи, взбежал трам-

вай, полный видневшихся сквозь стекла людей, на минутку остановился, выбросил двух и покатился дальше, уменьшаясь и с удаляющимся воем роняя синие искры.

— Ступай кверху, — сказал Мирон Ваське.

— Чего я там не видал!.. Я на площадь пойду.

— Тебе говорят, мозгля!..

Но Васька стоял, курносый и наглый, глядя на отца маленькими злыми щелочками. Мирона подмывало дать ему хорошего раза по шее, сбить шапку и Бкусно потаскать за волосы, да публика шла кругом, — отправят в участок, день пропал.

— Ах, ты!.. Скучился?.. Требуху выпущу... — И Мирон густо покраснел.

Васька угрюмо подался.

— Н-ну?!

Мирон почувствовал — не ударит, не только потому не ударит, что публика и в участок, а еще потому, что выросла для обоих незаметно какая-то черта, и Мирон чувствовал — ее нельзя переступить.

Он давно видел, что у Васьки начинается своя жизнь, свои интересы, начинается свое,

и это приводило его в раж. Васькино назначение было помогать отцу в мышинном хозяйстве, помогать поднять остальных детей, и он жестоко исправлял всякое Васькино уклонение.

Но время беспощадно: Мирон старился, Васька креп, и теперь они стояли друг перед другом, почти как равные, и Мирон как будто первый раз увидел Ваську.

Что было недопустимо — Васька и с мышами плутовал. Всю мышиную науку он превосходно усвоил, но когда издыхала мышь и отец приказывал выкинуть, он ее прятал, замораживал, а в подходящий момент доставал, оттаивал, чистил щеточкой шерстку, чтоб свежее и подбрасывал в ящик, а живую мышь взамен продавал в свою пользу. Удивлялся Мирон, почему так правильно и периодически сталидохнуть мыши.

А когда потеплело, Васька тайно завел свой мышиный завод в углу конюшни и торговал больше своими мышами.

И теперь они стояли друг перед другом, не решаясь переступить черту, которая связывала и разделяла их.

— Ну, — сказал Мирон.

— Не пойду... — сказал Васька, но... повернулся и пошел наверх, — торговля там была хуже, чем на площади.

Мирон весело зашагал вниз. Спустился на квартал, огляделся на углу, нет ли городского, достал из клетки мышь и, вытянув руку, подержал ее на открытой ладони.

Мышка, белея, торопливо понюхала розовым носиком ладонь, потом воздух, пробежала по руке, по плечу, кругом шеи, вспрыгнула на шапку, на минутку постояла белым столбиком, осматриваясь, опять сбежала и, усевшись на ладони поудобнее на задних лапках, передними стала умываться.

Публика останавливалась и смотрела.

— Ученая.

— Как человек, руками.

— Это не нашинская, заграничная.

Мирон, держа все так же вытянутую руку, уверенной скороговоркой артиста бойко выговаривал, не обращая внимания на стоявшую публику:

— Индейская денная мышь, в гимназии образовалась, в унирситете воспиталась, ни

исть, ни пьеть, об одном лишь тужит, как муж жену утюжит, судьбу предскажет, тужить-горевать закажет... Девушке жениха волосатого, пьяного, рогатого... Гимназисты наши запросили березовой каши... Всем расскажет, никого не обвяжет, кто не хочет, проходи, а кто слушает, подходи, пяточок выкладай, судьбу выгребай... Пожалте, господа почтенные, к ученой мышши... Невидимое чудо двадцатого века...

Публика задерживалась около Мирона, как вода вокруг камня.

Одни, постояв, уходят, другие подходят и, вытянув шеи и глядя на белых мышшей, слушают.

Приказчики, прислуга, девочки из модных мастерских с большими мешающими коробками, полотеры с желтыми лицами и желтыми щетками. Стоят, смотрят на маленький ящичек, в котором плотно уложены конвертики с судьбой. Смотрят внимательно; у каждого за равнодушно замкнутым лицом — горе, заботы, изломанная жизнь. И, быть может, в этом конвертике неожиданно ломается судьба, ждет радость.

Останавливались и чистые господа.

Маленький гимназистик, с нежными детскими щеками, стоит, сутулясь под ранцем на спине, и все вздергивает его на плечи. Он долго стоит и вдруг говорит, сам испугавшись своих слов:

— Дайте мне.

— Чего?

— Мышку... нет, судьбу.

— Пожалуйте пяточок.

Мирон взял мышь и, держа за хвостик, пустил по конвертикам в ящичке. Все с напряжением следили, как мышь мордочкой и лапками суетливо перебирала конвертики. Мирон незаметно придавил ногтем кончик хвоста, и мышь испуганно выхватила зубами первый попавшийся конверт. Мирон подал гимназисту.

Тот осанисто сделал себе двойной подбородок, распечатал и на маленькой серой бумажке прочел: «Злые враги ваши будут посрамлены, и скоро вы сочетаетесь законным браком с любимой женщиной».

Кругом засмеялись, а гимназист, краснея и конфузясь, бросил бумажку, которую сейчас

же бережно подобрали.

— Фу, глупости какие! И вовсе мышь не может узнавать судьбу. — И пошел в гимназию, поддергивая и поправляя плечами ранец.

— А, ну-кась, дай-кась я, — проговорил с добродушным красным лицом и, как иголками, истыканным носом кучер, с полумешком овса через руку. Не переставая добродушно улыбаться и подняв выжидательно и немного как будто сконфуженно брови, он долго рылся в плисовых штанах и достал пятак.

Опять Мирон пустил по конвертам белую мышь, держа за хвостик.

— Ну, ну, ты по всем пущай, нехай по всем конвертам побегаает... пущай хорошенько разнюхает мою судьбу...

— На, на, мне не жалко. Вишь, как вынюхивает. Тут уж, брат, без обману.

Мышь вытащила конвертик. Кучер осторожно взял черными толстыми пальцами и стал вертеть, все так же подняв брови и улыбаясь.

— Распечатывай, ты чего, — говорили кругом с нетерпением.

Кучер неловко разорвал и долго вертел бумажку.

— Ну?

— Кто ж ее знает, неграмотный я.

— Дай-кась, прочту.

Мальчишка из мясной, не ворочая головой, на которой лежала баранья нога, прочел, скосив глаза, по складам:

«Вра-ги ва-ши по-гиб-нут. Вас ожи-да-ет бо-гат-ство и сла-ва».

Кучер, не справляясь с разъезжавшейся до ушей улыбкой и все так же держа поднятыми вверх брови, торопливо взял бумажку и радостно покрутил головой.

— А?! Ешь те с хреном!.. До чего верно!.. Нет, ты скажи... Как в аптеке... мать твоя ко-черыжка!..

И он засмеялся заразительно, детским смехом. И все так же улыбаясь и оглядываясь на всех, точно приглашая порадоваться своей радости, говорил тем, кто подходил:

— До чего зараз мышь верно предсказала. Ну, до чего верно... диковина!.. Тварь, а судьбу чует...

И сколько ни подходило людей, он не уста-

вал рассказывать про мышь и про судьбу.

— Говорит: враги ваши погибнут...

Целый день ходил Мирон по улицам, по площади и по трактирам, ходил с сознанием не забавы, которую он предлагал людям, а серьезного, важного дела. Ибо знал, что у каждого, как и у него, за плечами горе, забота и измученность, и хотя знал весь механизм предсказаний, странным оборотом мысли эти предсказания и в его глазах принимали особую жизненную важность, правду и свое значение.

Торговля шла хорошо: штук десять конвертов продал да двух мышей по тридцать копеек.

Закусил и выпил в трактире и с веселыми глазами, когда уже цепочкой зажглись огни вдоль улиц, шел домой с баранками и конфетами для детей.

Марфа дорожила местом, любила своих господ — были они хорошего роду — и блюла их интересы не за страх, а за совесть.

А Антон Спиридонович пренебрежительно отзывался:

— Шелудивые господа... Знаю, ихний папа-

ша гремел в свое время на всю губернию. Бывало, стол не накрывался меньше как на двадцать пять — тридцать персон, а на именины ихние и жены со всего уезду съезжались, и на триста кувертов не хватало. А лошади! На пять губерний кругом гремели, — огнедышащие львы, и больше ничего. Было. А теперь я перед ними фон-барон. А у них, кроме собак, ничего не осталось.

Действительно, от всего прошлого остался лишь великолепный прононс да удивительная порода каких-то необыкновенно маленьких болонок.

Брат и сестра, с громкой когда-то дворянской фамилией, жили очень дружно, и обоим было за пятьдесят. Сестра — старая дева, брат — бездетный вдовец. Она отдавала комнаты жильцам, возилась с болонками и делала гимнастику по Мюллеру, чтоб сохранить бюст, он заботился о своем здоровье да выбирал, простаивая часами перед витринами магазинов, мебель и безделушки, которые собирался купить, когда разбогатеет. Так уходили дни, уходили годы.

Так как каждая копейка была на счету, то

сдавались и тупички в кухне, только барыня строго-настрого требовала от Марфы, чтоб платили неослабно в срок и чтоб народ был скромный, непьющий, богобоязненный и чистоплотный. Но на кухню сама никогда не спускалась, и все, что там ни делалось, было так же далеко, как в Китае. К Марфе же относилась ласково и ценила ее преданность.

Жизнь на кухне шла, как заведенная машина.

Целый день несло жаром и запахом поджаренного масла от непотухающей плиты, около которой сердито распорядилась с раскрасневшимся потным лицом Марфа.

Сверху то и дело сбегала горничная за блюдами, то к завтраку, то к обеду, то к ужину, и плита переставала работать только часов в двенадцать ночи. Для Марфы не было ни праздников, ни свободных дней. Оттого она была зла, всех ругала. Особенно была зла на детей и на мышей. Мыши были погань, а дети все торчали у плиты и молча смотрели большими ожидающими глазами.

— У-у, несытые!.. Ну, чего выстроились, как частокол... Ступайте в свою нору.

И сердито сунет в рот одному пирожок, другому мяса, третьему ложку рису разваренного и даст шлепка. У детишек весело загорятся глазенки и, торопливо прожевывая, побегут в свою темную нору на вонючую кровать.

А за занавеской печник, Алексей Иваныч, уже бубнит пьяным голосом:

— На одну ногу, слышь; на одной ноге... тебе говорят... Н-ну!.. Как раки ходят? Н-ну!.. Лезь под кровать, живо, те говорят, задом наперед... ну-ну!..

Слышны глухие удары.

— Вылазь... Перекатись через себе... Кланяйся с землю... тебе говорят!.. Ну, так. Раз, два, три... девять, десять, одиннадцать... двадцать один, двадцать два... Считай сама, а то замучился.

Слышен слабый, притихающий, когда она кланяется, голос Груни:

— ...Тридцать пять... тридцать шесть... тридцать семь...

— Будя, замолчи, тебе говорят, спать не дашь. Стань мордой в угол, стой, покада буду спать. Да на одной ноге стой... Тебе говорят!..

Через некоторое время слышно — храпит Алексей Иваныч, но никто не выходит из-за занавески... Из своего тупика выходит Глаша.

— Опять?

— Да, опять, окаянный, измывается — ни сроку, ни отдыху не дает. Ну, доведись до меня, я б его выучила, я б ему показала место! Я б из него узелок завязала!

Глядя на Марфу, Глаша думает, что та справила бы не с одним Алексеем Иванычем.

— И чего она от него не уйдет?

— Ну, вот любит пса.

Груню все жалеют и все ею пользуются: на всех она стирает, бегает на посылках, исполняет мелкие работы. Она без устали тянется в работе по сырым прачечным. Но и работать Алексей Иваныч не всегда пускает, требуя в то же время, чтоб была еда и водка. И всегда она в синяках, с подбитыми глазами. Но подбитые глаза лучатся ласковостью и добротой.

Была когда-то Груня замужем за сапожником. Прожили они три года, сапожник взял в дом любовницу, а ее выгнал. Встретилась с Алексеем Иванычем, которого была старше, прилепилась к нему, и вот он ее тиранит

восьмой год.

Проспится Алексей Иваныч, зевнет и скажет:

— Грунь, а, Грунь!

— Я тут, Алексей Иваныч, — еле ворочая губами, отзовется Груня, стоя на одной ноге.

— Будет тебе стоять-то, иди — може, куда надо.

Груня, с трудом ступая отежшими ногами, начинает убирать тупичок.

А Алексей Иваныч выйдет в жилетке и выпущенной рубахе и похаживает по кухне. Он — красавец: черные кудрявые волосы, никогда не чесанные и от этого особенно красивые, цыганское лицо, и, когда говорит, из-под усов сверкают белые, как кипень, зубы.

Он ласков и обходителен.

— И как вы только понимаете насчет кушаньев, Марфа Ивановна.

— Неча заговаривать зубы-то. Груньку меньше б тиранил. Что она, собака тебе?

— Да кто ее тиранит, господи ты боже мой! — искренно изумляется Алексей Иваныч. — Живем мы с ней, как муж и жена, и все честно и благородно. Грунь, али ты недо-

вольна на меня?

— Довольна, Алексей Иваныч, много довольна вами.

И глаза ее сияют.

Часам к четверем с хрипением, с плевани-ем, с кашлем просыпается в своем тупичке Антон Спиридоныч. Глаша испуганно и торопливо готовит пиво, чай, умыться.

Тот кашляет затяжным, с генеральскими раскатами кашлем, пока не откашляет, и с налившимся лицом и глазами хрипит:

— Пива!

А Глаша уже все приготовила и льет в пенящийся стакан. Потом, подняв занавеску, начинает убирать тупичок.

У Антона Спиридоныча в тупичке почище, — бумажные, посеревшие от пыли цветы, фотографические карточки на стене, и зеленым коленкором задернуто повешенное на гвозде платье. У Алексея Иваныча попроще, а к Миرونу не влезешь: грязь, тряпье, не убрано.

Пока в тупичке убирают, Антон Спиридоныч сидит за пивом в кухне, осунувшись у стола огромным, из одного жиру телом, и тя-

жело, с хрипящей одышкой дышит.

— Вы вот задвохаетесь, Антон Спиридоныч, — сердито переставляя обожженными руками на пышущей плите кипящую кастрюлю, говорит Марфа, — а об том не подумаете — Глаше завещание написать. Храни бог, не подыметесь, куда она? На улицу. Под забором и сдохнет.

Он сидит, всем телом расплывшись на табуретке, сопит, уставившись по одному направлению, и тянет пиво, собирая языком с мокрых усов пену.

— Нехорошо, Антон Спиридоныч. Женщина она али нет?

— Знамо, не корова.

— Весь век свой на вас убила.

— А кормит кто?

— Да ведь мало ли она на вас бьется: и стоговнит, и постирает, и приберет, и приласкает...

— Фу-у, да на ней мяса совсем ничего.

— День-деньской, погляжу, все округ вас возится — да и на поденщину ходит.

— Даром кормить никто не станет.

И, посопев и обобрав снова насевшую на

усы лопающуюся пену, сказал:

— Вон граф Недоносков-Погуляй, так у него три любовницы в трех концах города. Десять, куда ни поедет, везде может время приятно провести. Поедет в театр, из театра тут недалеко, пожалуйста. Поедет на заседание — здесь же возле. Поедет за город, ворочается — зараз уже ждут.

— Да какая она вам любовница? Шестнадцатый год живете.

Но он сопел и не слушал.

— Эти полторы тыщи как мне достались? Со-оком. Тоже не на улице нагреб. Вы думаете, швейцар — так галуны да одна приятность... стоит да пятиалтынные огребает. А то положите, что свету божьего, окромя своей улицы, его и не знаешь.

Он закашлялся и долго хрипло дышал.

— Так я непреклонно решил: сто рублей родне братниной жены, как я одинокий, никого у меня не осталось. Сто рублей на церковь в нашей деревне. Сто рублей на похороны, поминальный обед и на вечное поминовение. А тысяча двести рублей на школу, чтоб училище образовали в нашей деревне.

— Да на кой ляд вам училище? И кабы дети у вас были...

— Нет, нельзя. Господа завсегда жертвуют и отписывают по духовному на университеты и другое высшее учение. Вот наш граф Недоносков-Погуляй отписал десять тысяч на стипендии. Камер-юнкер Суздальский основал школу рисования. У всех господ так, заведение такое, сколько я ни жил.

Вечером, когда зажгутся огни, приходит веселый, довольный Мирон с веселыми, трактирными глазами и выкладывает ребятишкам на стол баранки, пряничных лошадей и леденцов. Дети визжат от радости, тянутся к столу, а Марфа ворчит:

— То-то, недотепа. Без бабы — дурак-дураком. За-мест, чтоб накормить ребят, али бы принес чего из одежды, голые ведь, а он на голодное-то брюхо конфеты им пхает. Мышиная голова...

— Марфа Ивановна, да напрасно, — Мирон в возбужденно веселом настроении, — моя скотинка обслужит, всего заработает, и сыты и обуты будем. Нонче на рубль на двадцать на пять наторговал.

Так тянется и заканчивается день.

Приходит и дядя Федор, — он торгует свечами в часовне. Придет, всех поприветствует, попьет кипяточку без чаю и без сахару, всем скажет по ласковому слову — и к себе в тупичок. Платит он Антону Спиридонычу пятьдесят копеек в месяц, и за это спит у него на полу возле кровати и держит под кроватью зеленый сундук. И каждый раз, как ложится спать, помолится богу, пощупает замочек у сундука — цел.

Всю свою жизнь дядя Федор провел в деревне. И даже не в деревне, а в лесу, в землянке. Была у него жена и ребятишки. Ребятишки умерли, осталась одна девочка. Затосковалась жена по детям, надоело ей жить в лесу, она и сказала:

— Будь ты проклят, лесовик! — и ушла от него к мещанам в город.

Так дядя Федор и не знает, куда она делась.

Вырастил он дочку, перешел с ней в деревню жить. А в деревне летом она нанялась к господам, которые жили на даче. Потом уехала с господами в город и изредка писала отцу, что живет по местам и хорошо живет. Когда,

случалось, рублишко пришлет, а то и два.

Так прошло два года. Заскучал дядя Федор и приехал в город дочку повидать.

Город был громадный, такой громадный, что у дяди Федора от мелькания людей, от движения, от бесчисленных огней, от шума — целый месяц болела голова. В лесу он знал каждое дерево, а тут десять раз проходил мимо, своего дома, не узнавал и все расспрашивал, как пройти.

Раза три сидел в участке за то, что богу молился. Как увидит церковь, остановится, скинет шапку и давай молиться, а то поклон земной положит. На панели еще туда-сюда, публице только мешает, а если, случится, переходит рельсы да увидит церковь, тут же снимает шапку и бьет поклоны, не обращая внимания на звонки. Из-за него приходится останавливать вагоны, вагоновожатые ругаются, зовут городского, и дядю Федора с дворником отправляют в участок.

Дочку он разыскал только на второй месяц. Пришел повидать ее, а ему сказали, что ее можно видеть только вечером, днем она спит.

Удивился дядя Федор, но пришел вечером. Долго ждал на кухне, а потом его позвали, и в переднюю вышла дочка, только он ее не узнал. Голые руки и грудь, на лице румянец, а на голове такая огромная шапка волос, что он удивлялся, как голова назад не отвалится, и сказал:

— Когда у тебя, дочка, волосьев столькоросло?

А она все потирала пальчики в кольцах, как будто ей было холодно, и все то засмеется, то глядит на него большими круглыми глазами.

— Вы, папаша, приходите послезавтра... Мне хорошо живется... А только у нас сегодня гостей видимо-не-вид...

Да вдруг упала к нему на грудь, и стали голые плечики у нее вздрагивать. Ничего не понял дядя Федор, только почувствовал что-то страшное в этом огромном, больше всякого леса, городе.

Он только гладил шершавой рукой огромно навороченные, как копна, на ее голове чужие волосы и приговаривал:

— Дочечка... дочечка... доченька моя...

А она отняла голову от груди.

— Папаша, вы прическу испортите. Вы, папаша, сюда не ходите, а я вас буду проводить.

Тогда одна упорная мысль овладела дядей Федором: отдать дочку замуж. Поступил он продавать свечи в часовню, там ему платили с пуда. Медленно, капля по капле, зернышко по зернышку собирал он приданое в зеленый сундук и жил постоянно впроголодь.

Лес и лесная жизнь научили дядю Федора неумирающему терпению, но тяжел пуд, долго тянется, и лишь несколько копеек от него остается. «Ничего, все по-ладному», — говорит дядя Федор и начинает читать молитвы на ночь. Уляжется на полу и все поворачивается, то один бок согреет, то другой, — холодило с полу-то.

Глаша спит возле, на кровати. Несется сонное дыхание и из кухни, и от Алексея Иваныча, и ребятишки у Мирона бормочут.

Заведет глаза дядя Федор, и сейчас одно и то же: будто он в лесу и лезет на высокий старый осокорь. Не привыкать стать, цепляется руками и ногами, упирается в ветки, а глянет

вниз — земля вот она; подымет голову — не видать верхушек. И будто непременно надо дяде Федору влезть и глянуть поверх деревьев. И знает, увидит — только качаются верхушки, да ветер стонет, а надо лезть, надо глянуть — и страшно, и никак не долезть.

Часу в пятом, когда в доме мертвое царство и с потолка не доходят никакие звуки, дядю Федора будит кашель, хрип и сопение — Антон Спиридоныч пришел со службы. Сидит он, красный, расплывшийся по кровати, и хрипит:

— Пива!

А Глаша уже суетится, откупоривает приготовленную с вечера бутылку

— Извольте, Антон Спиридоныч, кушайте, — и кланяется.

Намочит усы Антон Спиридоныч, оберет пену языком и начнет, хрипя и задыхаясь, рассказывать. Закроется, дескать, кинематограф, разойдется публика, запрут двери, а тут самое и начинается настоящее по отдельным кабинетам, которые при кинематографе как будто фойе, — девицы, шампанское, веселье, деньги рекой, и ему, Антону Спиридонычу,

хороший доход, и полиция не трогает.

Между кашлем и одышкой Антон Спиридоныч, видимо, всласть рассказывает такое, что дядя Федор, сидя на полу, только скребет в голове да иной раз сплюнет под кровать. Лечь бы уснуть, да не уснешь под эту хрипоту, и прислушивается он мимо рассказа к своему привычному, — бор шумит разноголосо и гневливо и в то же время одним ровным могучим голосом.

— О господи!..

— Вон, граф Недоносков-Погуляй почище нас с тобой, а бывало...

Антон Спиридоныч чем дальше, тем больше распаляется.

— Чего морду-то воротишь? Не хуже нас с тобой, с образованием люди, понимают...

Потом заваливается на кровать. Глаша тушит лампочку, тоже ложится, и при неверно мерцающем свете лампадки на полу виднеется дядя Федор на коленях. Он глядит не отрываясь на красный глазок лампадки, размашисто крестится, крепко прижимая, кладет земные поклоны и громко шепчет:

— Господи, прими и сокруши содеянное...

А на кровати хрипло, сквозь одышку:

— Глиста... разве ты женщина?

— ...Господи, еже словом, еже ведением и неведением...

— Иная баба... действительно, а ты что?

— За что вы меня, Антон Спиридоныч?..
Господи, чем же я виновата?

— ...Спаси и помилуй путешественников,
блудущих!..

— Да на кой ты ляд кому сдалась... тьфу!..
отодвинься...

— Господи, да ведь упаду с кровати...

В мерцающей мгле стоят слезы и слышен все тот же неустанный громкий шепот молитвы.

Антон Спиридоныч никак не отдышится, от одышки не может уснуть. Он скашивает глаза на припадающую к полу темную фигуру на коленях.

Дядя Федор, отмолившись, ложится.

— И чего ты, дядя Федор, все поклоны отбиваешь? Не то во святые хочешь залезть, не то капитал приобрести у господина.

— Не говорите таких слов, Антон Спиридоныч, не надо, нехорошо, негоже...

— Я к тому... не то что к смеху, нет, зачем, а только каждый молится за себя, а чтоб за всех, на то рукополагаются особые должности, сиречь попы. На то у них причт, ладаном кадят, и за поборами ездют. Ну, а ты-то чего стараешься? Ведь тебе за это даже в морду не плюнут.

— И вот неправильно, Антон Спиридонья. Слыхали про Содомгомору? Господь постановил, по благодости своей, сжечь за беззаконие. Стал Лот на колени, просит за грешников. А господь смилостивился и сказывает: «Ежели девятеро праведников найдется, помилую». Лот туда, сюда, — нету! «Господи, а ежели хочь шесть?» Ну, господь грит: «Ладно, найдется и шесть, помилую». Лот это опять кинулся: «Нету, хочь што ты хошь делай». Кинулся опять: «Господи, ну, если хочь един». Господь подумал, подумал: «Жалко из-за одного да эва сколько содомцев миловать». Опять же и Лота жалко, просит, — и говорит: «Ежели найдется хочь один, окромя тебя, — помилую». А, сказать, и одного не нашлось; так и сгорели. Теперича я не к тому, что против Лота себя ставлю, боже упаси, ну, только спят, спит

цельный город, и не чуют, что над ними. А может, бедствие обвисло. Может, божий гнев за стенами стоит...

— Так ведь не слышать что-то, чтоб бог города ноне палил.

Дядя Федор покрутил головой, посидел, потом лег, натянул кафтан и завел глаза — скоро вставать к часовне.

Стал засыпать и Антон Спиридоныч, борясь с удушьем, открывая и закрывая глаза, и трепетно мелькающим, воровливым светом озаряет грудь его тела глядящий из угла красный глазок лампадки.

Случалось, по праздникам и барыня и квартиранты уезжали на целый вечер. Тогда в Марфином салоне собирались.

Отобедают господа, и горничная перестанет прибегать вниз, Марфа приберется по кухне, поставит самовар, накроет кухонный чисто выскребленный стол штопаной скатертью, а на скатерть — самовар и баранки; понемногу начинает собираться публика.

Вылезет из своей берлоги Антон Спиридоныч, сопя и кряхтя.

— Садитесь, Антон Спиридоныч, — скажет

Марфа с озабоченным видом принимающей хозяйки.

— Что ж, можно единую, — присаживается, и под ним, подаваясь, слегка трещит табурет.

— Мирон Васильич, вы что же? Приходите, гостями будете. Глаша, иди. И вы, Алексей Иваныч. Груня, али тебя просить?

Гости приходят со своим сахаром, хлебом, а чай Марфа заваривает от себя на всех. Впрочем, он ей ничего не стоит, — хозяйские опивки сушит. Перед Антоном Спиридонычем Глаша ставит бутылку пива, а перед Алексеем Иванычем Груня — полбутылки водки.

Гости бесконечно пьют зеленую водицу, прикусывая сахар и отирая пот. Ведут разговоры.

Прибегает на минутку горничная.

— Садись. Маня, — говорит миролюбиво Марфа.

— Да ведь некогда, зараз уезжают.

— Ну, ну, чашечку.

Та хотя и брезгает этой компанией и наверху пьет вдоволь господского чая с печеньями, которые таскает из буфета, — приса-

живается на краешек табуретки, чтоб не обмять платья, и начинает пить зеленую водичку.

— Далеко вы от меня сели... поближе, — хрипит Антон Спиридоныч, и глазки у него масленеют, — пивка стаканчик.

— Нет, мерси-с, не люблю, горькое.

— Так можно подсластить, хе-хе-хе...

— Было бы с кем.

— А мы чем же не вышли в порядке?

— Пахнет у вас тут нехорошо, прямо воняет.

Мирон сейчас же настораживается, принимая на свой счет:

— Чем же нехорошо, Марья Александровна? Обыкновенно — человечиной.

— Мышами.

— А что ж такое мышь! Да от нее запах-то чище еще, как от человека. Мышь — зверь, а зверь чистоту свою сам понимает. Взять лошадь. Да многие господа даже любят, как запах дает конский навоз, только чтоб свежий, конечно. А ну-кась, возьми человеческий!..

— Ну, вы уж нарасказываете.

— Вы, Марья Александровна, подождите

минуточку, — говорит галантно, хрипя и кашля, Антон Спиридоныч, — я вам сейчас за церковным вином пошлю, красное и приятное.

— И со святостью.

— Нет, благодарю, побегу. — И убегает по лестнице, шелестя юбками.

Антон Спиридоныч, хрипя и подымая дыханием огромный живот, глядит вслед говяжьими глазами.

— Аккуратненькая.

Мирон сердито прихлебывает с блюдца на пальцах.

— Воняет. Да, может, она, мышь, еще чище тебя. И корова те воняет, а как без коровы в хозяйстве?

Марфа сердито вытерла пот с лица.

— Сказал: корова!.. То корова, а то мышь. Что молоть-то!

— А по какому случаю разница? Только что энтой бог рога насадил. Так у многих коров рога спиливают. А то есть комолые, совсем без рогов от роду, — порода разная. Мышь, корова ли, все одно домашнее животное. Опять же и мышь разной породы. Есть

мышь длинная на манер таксы, и по хребту черная полоса, а есть круглая мышь, а есть головастая. Есть земляная мышь, есть водяная, есть полевая, есть потолочная, которая по чердакам. А то кладовая мышь, — это особая статья. И до чего умная скотинка: яйца теперича таскать надо в нору. Ну, так катить — бьются. Так старая мышь облапит яйцо, ляжет на спину, а другие ухватют ее кто за шкуру, кто за хвост, кто за ноги, и тянут ее, стало быть, волоком к норе, а она лежит, и на пузе у ней яйцо. А то вот молоко из кувшинов пьют. Кувшин высокий да узкий, молоко глубоко, туда не влезешь, утонешь. Так мыши обсядут край, спустят хвосты, поболтают, поболтают в молоке-то, вытянут и обсосут хвосты и опять поболтают и опять оближут. Так и напьются: все молоко вылакают.

— Диковина!

— Тьфу, нечисть!.. Пущай только ко мне залезут, и вам всем тошно станет.

— А то есть поющая мышь. Так эта «матушку голубушку» до того ли выводит, за сердце берет, ей богу.

— Бреши больше.

— Да ей богу, я, что ли? Ученые открыли, так и называется «поющая мышь». Чисто андальским голоском.

— Не грехи.

— Сядет это на задние лапки, сама столбиком, головку набок, и...

Мирон вытянул заросшую шею что есть силы, собрал углом над переносицей брови, набрав на лбу складки, округлил шершавый рот и диким голосом завопил, мотая головой:

*Ма-а-ту-у-шка-а, го-олу-у-бу-уш-
ка-а,
со-о-лны-шка-а ма-а-я-а-а...*

Антон Спиридоныч недовольно засопел, затягиваясь папирасой:

— Этак-то ангелы на небеси поют? Сбежишь.

— Ну, до чего умилительно. Так и называется: поющая мышь, фараонова. Фараоны при себе их держат заместо хора.

— Это которые из босова батальона?

— Не, египетские цари, сказать — африканские.

— Что ж ты не заведешь?

— Дорогие, приступу нет. Одна поющая мышь, называемая фараонова, стоит пять тысяч рублей.

— Цена!

— Да чего вы рассказываете, — загремела Марфа, — мышь попадет в кадку, зараз святой водой надо кропить, — погань...

Мирон весь покраснел, надулся и закричал фистулой:

— А почему такое в алтарь кошек пускают? — И, приподнявшись и осмотрев всех, отчеканил: — Стало быть, мыши есть во святом месте. А вы говорите — погань.

— Мышь в церкви завсегда.

— Ну, то-то!

Антон Спиридоныч запыхтел и сердито заворочал животом.

— Об мышах — разговору другого нету... стало быть, к чаю закуска.

— Тьфу, прости господи, — плюнула Марфа.

И вдруг сделавшись совсем другою, проговорила, притихшая:

— Чтой-то Леши нету.

И подождав и прислушавшись, вздохнула

и покликала:

— Дядя Федор, а, дядя Федор, иди, с нами чайку попьешь.

Из-за занавески:

— Ай?

— Иди, говорю, почаевничаешь е нами.

— Ну-к что ж.

Дядя Федор выходит, отвешивает поклон.

— Помогай вам господи, чтоб на пользу, на потребу.

— Садись, садись, вот сюды, вот хорошо. Ну, как, дядя Федор, шибко торгуете свечами? Небось на полсундука-то приданого набили?

Дядя Федор крестится, садится и начинает терпеливо, чашка за чашкой, пить чай, так же терпеливо, как вырабатывает он на приданое с пуда: «все по-ладному...»

— Леши чтой-то нету...

— За ваше драгоценное, — говорит Алексей Иваныч, запрокидывает черные кудлатые космы и опрокидывает под черные вьющиеся усы рюмку.

Щекастое лицо Марфы зло наливается краской и густо лоснится.

— Драгоценное! А чего Груньку лупишь,

окаянный, каждый день, как Сидорову козу.

— Ась?.. Да кто ее этово?.. Ништо-о!..

Он покрутил цыганской головой, облапил, паясничая, Груню и стал ласкать.

Та конфузливо:

— Будя... ну, будя, Алексей Иваныч...

— Еще притворяется, идол черномазый. А кто убивает да измывается?

— Кто-о ж это?! — изумленно блеснул белками Алексей Иваныч. — Али без меня?

— Ы-ы-ы... чтоб тебя! — возмущается Марфа и сердито сморкается. — Доведись до меня, я б тебе показала кузькину мать.

— Трудно нашему брату при ихней сестре, — вздохнул животом Антон Спиридоныч, — Марфа-то Ивановна по три мужика на каждую руку, и глядеть нечего. Покойного-то мужа, бывало, подымет за шиворот да и швырнет на постель. Он, как котенок, лежит на постели-то, дожидается. Герой женщина нашего времени.

— Ну, а то как же с вами, с кровопивцами...

Алексей Иваныч, лохматый и черный, задумался, глядя на самоварный кран, — самовар тоненько и унывно пел. Потом скрутил и

заломил собачью ножку, закурил и, наклоняясь к Марфе, проговорил, показывая белые, как кипень, из-под черных усов зубы:

— Какая моя через нее жизнь! Кабы не она, человеком бы я был... сам об себе помышлял...

— Не то в босяки бы попал.

— А хошь и в босяки. Пущай в босяки! По крайности, так бы и знал: босяк. И люди бы знали: босяк. На роду написано, босяк, стало быть. По крайности, звание свое имел бы. А теперя я што? Вольный человек? Нет, все меня тянет в свою нору. Женатый? Не-ет, какая она мене жена. Холостой? Опять же нет: с Грушкой вот сколько годов вяжусь. И не работник я, — чего мне работать, как она меня кормит, али дурак я? Опять же без работы скучно, пить надо. И выходит, потерянный я человек навечно.

Он быстро, торопливо втягивая черные, как сапожный вар, щеки, стал затягиваться, и огонь сразу съел пол собачьей ножки.

— Вот, одно — убить ее, и больше ничего.

Марфа Ивановна замахала руками.

— У-у, цыганская образина...

Прислушалась: снаружи скрипнула дверь.
— Лешенька!..

Лицо ее засветилось такой бесконечной ласковостью, что за столом притихло.

По лестнице спустился молодой парень лет двадцати двух, в потертом пальто, с втянутыми землистыми, рабочими щеками. Он бросил на кровать картуз, торопливо, спеша куда-то, скинул пальто и, так же спеша и торопясь, беспокойно пробежал по лицам большими карими глазами.

— Здравствуйте, мамаша. Антону Спиридонычу... Честной компании...

— Доброго здоровья... Здравствуйте, Алексей Матвеич... Наше вам... — нестройно откликнулись из-за стола и любовно раздвинулись, давая место. — Садитесь к нам, чайку.

Он был щуплый и торопливый той особенной нервной торопливостью, для которой дорога каждая свободная минутка и которая вырабатывается вечной, неперемежающейся работой. Сел на табуретку, согнувшись, вдавив плоскую грудь, и взял рабочими, с черновъевшимся железом и маслом, руками налившую матерью огромную пегую чашку с чаем.

— Ну, как у вас? — прохрипел Антон Спиридоныч.

— Да что, — отозвался Алексей.

— Лешенька, ты бы с крендельками.

Это была совсем другая Марфа Ивановна. Уже не было ни пожарных, ни городских, ни приказчиков из мясной, ни соседских дворников, а были только материнские глаза, сияющие бесконечной любовью, бесконечной гордостью, бесконечной, где-то глубоко запрятанной тревогой за сына, за единственного в мире. Она и вся как будто стала меньше, только глаза сияют.

Кругом за столом как будто подчинялись этой материнской гордости. И Алексей Иванович, докуривая собачью ножку, и Антон Спиридоныч, нося животом, и Груня, и Глаша, и Мирон точно слегка повернулись к Алексею. Только дядя Федор терпеливо пил чай, по-прежнему без сахара, прихлебывая, с капельками пота на носу, горячую воду, как бы разумея: «Ну-к, что ж... все по-ладному...»

— А то, — заспешил-заговорил, смахнув жиденькие, крысиные усы, Алексей, заспешил, как будто не видел, да и надобности в

них не было, кто сидел, а принес свое тревожное, недоконченное, беспокойное, — а-а, мол, так: тят-ляп... не-ет... не-ет... — Говорил он торопливо, и торопливо, вовсе не потому, что ему хотелось, пил из рябого блюдца, обжигаясь и моргая без надобности, — ага... не в этом штука... безделица!..

— Ну, да, конечно, понимаем, — и Алексей Иваныч дружелюбно снова запрокинул кудлатую голову и влил под усами между белых зубов рюмку, — за нас, за бездомных... Ну как же, понимаем...

— О, господи, господи!.. Да ведь... — да не dokonчила и вытерла вдруг покрасневшие глаза Марфа Ивановна.

И хотя Антон Спиридоныч был другого мнения и как бы из другого царства, опустил живот и сказал:

— Князь Грязной-Прокудин так-то сказал: «От Питера до Москвы ихними виселицами уставил бы, будь моя полная власть, и чтоб воронье растаскало». Д-да, потому закон, строгость.

Марфа Ивановна заплакала.

— Лешенька!..

Антон Спиридонович шумно выдохнул и, как бы снисходя и признавая законность материнского горя, подавляя кашель, прохрипел:

— Ему легко говорить: сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии...

— Мыша есть где разводить, — вставил Мирон.

Антон Спиридоныч не удержался, закашлялся, трясаясь, весь огромный и красный.

Алексей, как ужаленный, заметался, беспокойный и не находя места.

— Да разве в этом штука?! А-а...

В двери, резко и странно выделяясь, колесилась перьями огромная шляпа, а у горла краснел красный шелковый бант.

— Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, Алексей Матвеич.

Она подала руку, а остальным кивнула головой, и перья на шляпе затанцевали.

Никто не подвинулся, не глянул. Дядя Федор сказал:

— Ну-ну, садись, чайку попьешь; я напился... ничего...

Он налил, не всполаскивая, глиняную

кружку.

У девушки раздувались красиво вырезанные ноздри, из-под тонких бровей блестели глаза, а на худеньком личике — крикливый румянец.

— Обожатель подвез, — сказала она, нагло оглядывая всех, лишь пропустив Алексея, — до страсти люблю на автомобиле, на извозчиков глядеть не могу.

На ней было расшитое пальто, которое она не снимала, а на голове колебалась перьями шляпа...

Поискала глазами сахар, но у дяди Федора не было, а из тех никто не предложил, и стала пить, будто не замечая.

Марфа Ивановна громко прикусывала сахар.

Девушка, так же делая наглые глаза, — начхать, дескать, мне на вас на всех, — и щеголяя развязностью, сказала:

— Ну, как, Мирон Васильич, поживают ваши мыши?

— Мышь тебя не касается, — сказал Мирон, схлебывая с блюдца, и, склонив голову, налил из пузатой чашки, — мышь себя блю-

дет, не то что...

— Вешал бы таких, будь моя власть!.. — сказал Антон Спиридоныч, ни к кому не обращаясь, но все молчаливо поняли, к кому это относится.

Алексея точно уколело. Он опять заметался, беспокойно бегая глазами, смахивая жидкие усы, дергая плечом.

— Не в том дело... Эка невидаль — тюрьма!.. Да в одиночке наш брат отдохнет, по крайности, а то нет? Да хоть вздернут... Ну что!.. Намаешься, ну, устал, край... прямо ложись, помирай, задохся, все на тебя... Невидаль!..

— Господи, Лешенька, перекрестись!..

— Не в том дело, говорю... Наш брат из десяти девять тюрьмы понюхал, не страшно... А вот...

Он уставился на них глазами, побледнел и зашептал:

— В этом месяце... товарищ у меня, просто друг... одна чашка, одна ложка... сны одни видим... вдруг сказывают: продает. Вскочил я: «Архип?!» — «Продает», — говорят. «Это — Архип?!» — «Продает...» Ухватил я ножичек, с

размаху в ладонь себе... наскрозь... кончик вышел.. — он показал заструпившуюся с обеих сторон рану, — вот! «Когда кровь не пойдет из меня, тогда поверю... режьте мясо с костей...» А они: «Ты, говорят, не прыгай, не меньше тебя друг нам, ты смотри на факты жизни. Первое, как соберемся, где он побывает, — аресты на другой день уж непременно. Сходку назначим, ежели он знает, полиция непременно накроет. Он тебе друг, это, говорят, понимаем, и нам товарищ, а дело впереди всего. Он тебе друг, а страдают тысячи народу. Ты за него, говорят, мясо с себя режешь, а за дело, говорят, и всю шкуру приходится снять». — «Не поверю, говорю, — доказательства!» — «Изволь, говорят, с этого бы и начинал». Стали следить. Глядим, под вечер городовик к нему. Товарищ один прокрался, — городовик, прямо в комнату к Архипу... часа три у него пробыл, потом ушел... Эх, т-ты-ы!..

Алексей завертелся, оскалив зубы, точно ему прихлопнули палец дверьми.

— Что? — говорят. Ну, давайте, говорят, проверим окончательно. Назначили сходку у Архипа в десять вечера. А в девять, — к нему

никто не пошел, а расставили посты на улице и стали караулить, — а в девять к нему в квартиру прошел пристав и два околотка, а на улице у ворот городовика поставили. Ну, ясно?

Он измученно оглядел всех.

Девушка сидела с обвисшими перьями, с горестно опущенными углами рта, с иссиня-помертвевшими, резко очерченными на бледном лице румянами, смотрела на Алексея глазами побитой собаки и все потирала маленькие в кольцах руки, как будто ей было холодно.

— Ну, что, говорят, что?.. А-ха-ха-ха!..

Алексей засмеялся и забежал глазами. Весь ссутулился и опять зашептал:

— Мне его... то есть Архипа... досталось... Узелки тянули... Пойдем, говорю... ночью, часов двенадцать было... пойдем, говорю, пойдем... Удивился: ночью!.. Ну-к что ж, говорю, голова болит. Пошли. Улицы, как мертвые. Фонари дымятся... кое-где... глаза протираю — дымятся... Веду его, господи, веду его, друга своего. Долго шли, на кладбище пришли. Черно, памятники маячат. Сели на плиту. Он го-

ворит: «Чудной ты нынче». А я... засмеялся. Сам не знаю, чего засмеялся. Пощупал браунинг в кармане да говорю: «Давай, выпьем, — две сотки у меня в кармане». Пусть, думаю, в последний раз, а сам стал считать до пятидесяти: думаю, досчитаю до пятидесяти и... чтоб не мучился... А он говорит: «Не хочу, завтра рано вставать». — «Чего так?» — «На квартиру, говорит, новую перехожу...» — «Почему такое? (а у меня в голове: двадцать три... двадцать пять... двадцать семь...)». — «Да, говорит, не нравится хозяйка, надоело, с полицией больно дружбу водит...» — «Ну, двадцать девять... тридцать...» — «На прошлой неделе именинница была, так пьянствовали до утра: пристав, два околотка». — Я ухватил за руку. «Как звать?» — «Да Марья же, двадцать второго июля». — «Это когда сходку назначили?» — «Ну-ну, самое. Хорошо, что не пришли. Мне-то послать некого, а сбегать — кто-нибудь придет». — «А зачем городовик у ворот?» — «Да для посылок же, за вином в магазины все с заднего хода ходил; а Марья Васильевна ему водки все с заднего хода выносила». — «А который к тебе все городовик приходил?» —

«Когда?» — «Да недели с три назад». — «Да Прощка же, брат!..» Ах, ты!.. Знаю же, Прощка же, двоюродный брат его... на нелегальном. Бывало, придет, все городовиком одевался — безопасней; какой околоток и спросит, — а он: «С поручением, дескать, секретным, туда-то», — ну, и ладно. Задал еще вопросов, — все просто объясняется... Упал я, целую ему колени... Испужался он, поднял, повел, думал, — с ума я сошел.

Алексей поворачивал ко всем длинную шею и не то смеялся, не то судорожно икал:

— Чтожж этто... чтожж этто!..

— Лешенька, родимый мой!

Мирон ушел в угол возиться с мышами. Антон Спиридоныч сопел, затягиваясь толстой, как бревно, самодельной папироской.

— Теперь везде пошли фонари газовые, не могут коптеть; прежде керосиновые, так коптели.

Девушка все с теми же собачьими глазами, так же торопливо и нервно, как будто заразилась от Алексея, дергалась, вздрагивая, оглядывалась и все потирала маленькие озябшие в кольцах руки, насилуя перехватывавшие

горло спазмы.

— Я все... все... Алексей Матвейч... господи!.. Да разве... — и, судорожно схватив, поцеловала Алексею руку, а тот залаял захлебывающимися звуками, прижимая лицо к столу.

— Лешенька, да господь с тобой... Дай-ка я тебе чайку налью... Умыть тебя с глазу ужо... Родимый ты мой!..

Алексей Иваныч, рассолоделый от водки, говорил, заплетаясь:

— Ошибка в хвальшь не ставится... Вот, Грунька, так-то с тобой... Учись... Что ты и что я?! Чтоб духу твоего не было... Хочешь жить?! Па-аскуда!..

А у нее сияли бесконечной добротой и счастьем глаза.

— Вы бы легли, Алексей Иваныч, — я вам постельку приготовила.

А около дяди Федора сидела совсем уже другая. Она гордо встряхнула заколыхавшиеся на шляпе перьями; на щеках нагло кричал яркий румянец; презрительно сузила глазки, не спеша, умело надевала на маленькие руки с кольцами длинные перчатки.

— Я, папаша, пойду... Кавалер на автомо-

биле обещался, — не выношу извозчиков. Не хочу, чтобы сюда шофер зашел, — воняет, и подвал совсем.

— Ну-к что ж... Ладно.

У Марфы Ивановны густо надулись покрасневшие щеки.

— Скатертью дорога.

Дядя Федор пошел за девушкой проводить, а она шла, презирая, как королева, шевеля перьями, и лишь кивнула Алексею.

Алексей поднялся, холодно оглядел всех.

— Эх, слепота вы все, темь! Из вас на борьбу и лыка не сошьешь. Подвал подвалом и есть. Сдохнете тут. Туда вам и дорога...

В летнее время ребятишкам рай. Чем свет Анька подхватывает маленького под животик и, перегнувшись назад, как кошка котенка, вытаскивает наружу, а он, весь обвиснув, выжидательно молчит. Сенька с голым животом ковыляет вслед.

Старое корявое дерево, на памяти которого, где теперь стоят покосившиеся уже дома, расстилался когда-то пустырь, зеленеет скудными листьями по растопыренным почерклым ветвям. Прилетают воробьи, приходит,

выгнув спину, кошка, и ребятишки без умолку чирикают в жидкой, слегка шевелящейся по земле тени.

У Мирона в теплое время торговля идет отлично. Только случилась история с Васькой.

Пришел как-то Васька вечером и на вопрос Мирона заложил руки в карманы и нагло сказал:

— Нету денег... не торговал...

Мирон рот разинул:

— А-а?

Потом, придя в себя и вытаращив глаза, спросил:

— А мыши?

— Полицейский заарестовал.

Васька нагло не вынимал рук из карманов. Мирон подскочил, сунул к Васькиному рту нос, потянул: от Васьки густо несло водкой. Мирон молча размахнулся и ударил по лицу. Васька, не вынимая рук, поддал ногой в живот. Они сцепились, повалились на пол, и Мирон почувствовал, что сила у сына.

Ночью Васька ушел, захватив двадцать лучших мышей, и уж больше не возвращался, — так и канул. Говорили — открыл свою

мышиную фабрику, а другие говорили, что спознался с хулиганами. Отец проклял, но изредка, ворочаясь в субботу вечером, когда доносился сквозь уличный шум благовест ближайшей церкви, спрашивал:

— Не приходил Васька?

На что неизменно и зло Марфа отвечала:

— Жди, — в остроге небось устроился.

А Мирон, помолчав, с гордостью говорил:

— Не пропадет: мышь выручит... По крайности, рукомесло за плечьми.

Осенью, когда пришла сырость и на землю скучно валил мокрый, сейчас же таявший снег, бог прибрал у Мирона маленького, и всем на кухне стало недоставать этой вечно мокрой, завязанной на спинке узелком рубашонки и голенького посинелого зада, торопливо пересаживавшегося на холодных каменных плитах. Прежде его как-то не замечали или сердились, когда он попадался под ноги или делал лужи на полу, а теперь точно подвал опустел, и кто-нибудь нет-нет и скажет:

— Ванятки-то нету.

Мирон сам нес гробик, шагая по липкой грязи на мостовой, и ветер шевелил его воло-

сы и холодил сухие глаза. Посыпалась земля на маленький тесовый гробик. Мирон ударил шапкой оземь.

— Эх, Ванятка, не пришлось нам с тобой пожить, похозяйничать. А я б уж тебе не пожалел, достал бы мыша настоящего, фараонова... жил бы ты припеваючи... сыночек ты мой!.. — и заплакал.

А когда воротился, позвал Аньку и велел надеть на Сеньку свои старые, изорванные сапоги, обрезать и подшить, чтоб не волочились, старые штаны.

— Будя ему голопузому бегать: от людей срамно.

И когда она подошла, поднял глаза, как в свое время на Ваську, и увидел ее в первый раз.

Перед ним — тоненькая, как лозинка, девочка с зеленым личиком, на котором недетская усталость; от носа к углам губ, как иголкой, проведены морщинки; под глазами темная синева, а ресницы густые и длинные.

— Да тебя замуж скоро отдавать, а ты рукодела никакого не знаешь. Мышь — дело муштинское, баба к ней неспособна; это те не ко-

ров доить, тут ума положение. А тебе шить, знай иголку, и больше ничего.

В тот же вечер Мирон отправился к знакомому трактирщику и подарил ему клетку с двумя мышами, — у трактирщика сестра содержала дамскую мастерскую. А на другое воскресенье отвел Аньку на место.

Редко навевывалась Анька, — не пускали. А и придет, отца не видит, — если пустят, так только в воскресенье, а в воскресенье у Мирона самая торговля, и его целый день нет дома.

— Ну, и растешь ты, девка, ишь тянешься, как вербочка на мокром месте. А все толку с тебя нету: как была дохлая, так и посеичас. Ну, как?

И начнет Марфа расспрашивать про житье, а сама сунет пирожок, либо вчерашнюю котлету. Девочка нехотя, застенчиво ест, и только и слышно от нее: «нет»... «так»... «ничего»... А на лице усталость, и под глазами — глубокая недетская синева — не то от густых ресниц, не то от чего другого.

Сидит, смотрит и молчит — и не хочется уходить от родимого места. Все знакомо до последней пылинки. Та же рассевавшаяся печь,

те же полки, посуда на них, бархатисто-зеленая плесень у кровати. С потолка смутно падает знакомый гул, — должно быть, на рояле. В тупичке дядя Федор истово крестится, доносится его привычный шепот, и глядит, не отвечая, красный глазок лампадки.

А у себя на кровати сидит Алексей Иваныч, лохматый; расстегнутый ворот отвис, и грудь вся в черных космах.

Перед ним — траурно коптящая лампочка, с зазубренным горлышком недопитая полбутылка и Груня, с вздернутым носиком, с голубыми глазами.

Алексей Иваныч качает босой с большими желваками ногой, и Аня слышит знакомое:

— Грунь, а, Грунь, брось ты меня.

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч.

— А?.. Какая моя жизнь?.. Что я?.. Пень обгорелый...

Груня стоит перед ним, толстенькая, коротенькая, как тумбочка при панели, с добрыми морщинками у глаз, бесконечно сияющих, в которых — незамутненное, без пятнышка, голубое небо.

Он глядит на нее, и глаза наливаются кро-

вавой злобой.

— Брось!!

И все тем же бесконечным самоотвержением и радостной готовностью полон ее голос, который — как бы продолжение ее голубых глаз.

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч... За вас всякая пойдет и с деньгами... А я вам, Алексей Иваныч, буду помогать... на глаза не буду показываться, буду присылать...

Отливает тугая волна от коротко и жутко бьющегося сердца, и, передохнув, говорит Алексей Иваныч:

— Жалко мне тебя, Груня, вот жалко... и неизвестно почему... Убил бы вот... одним махом... и больше никаких... пикнуть не успеешь... цокнуть по башке... сверху рраз!.. — он сжимает туго огромный, в черных мозолях, волосатый кулак, — одна шея останется, больше ничего... а вот жалко... бросить... Глянешь, и сердце отойдет, как растает... Жалко бросить, и бить-то я тебя до дела не могу... а придет время, убью... Быть мне на каторге...

Она стоит перед ним с сияющими глазами.

— Убью я тебя когда-нито, Грунь...

У нее сияют глаза.

Вечером придет Мирон, непременно спросит:

— Была Анька?

Марфа осерчает:

— Ну, была. Замуж тебе надо ее отдавать.

— А что ж! Это мы можем и даже с превеликим. Это мы оборудуем одним духом, была бы охота. Мышь, он не выдаст. Приданое — изволь: обнову али там шляпу, али хвальшивую косу на голову — раз плюнуть, потому она животная понимающая и с образованием.

По утрам, как всегда, Мирон с мышами выходит за ворота, — все то же, те же дома, трактиры, улицы. А за улицами, такие же знакомые, другие улицы, знакомые площади, дома, магазины, трактиры.

С некоторых пор его преследует, точит странная мысль о «веселом месте».

Веселое место!..

Он сам не умеет сказать себе, что это, и никогда не говорит об этом вслух, потому что начнешь говорить словами, выходит чудно, но смутное ощущение, скорей ожидание, ни-

когда не гаснет, точит. Где оно? Какое оно? И как к нему пройти? И будто туда — тесные и узкие переулочки и со всех сторон высокие слепые, без окон, стены...

Глянет Мирон: по знакомым улицам снуют народ; гудя, с грохотом переходят на стрелках и, роняя синие искры, бегут полные людей трамваи; гукают проносящиеся автомобили. И надо торговать мышами, и никто не может сказать, да и не спрашивает он, да и знает — нет такого места.

Стал попивать Мирон. Выпивал он и прежде, но прежде выпивал весело, деловито — должность такая, с хорошими людьми встречался, зазовут в трактир, угостят, отказать нельзя.

Теперь же запивал тяжело — самому себе не в радость.

Если приходил домой с красными глазами, дико, до бесчувствия порол Сеньку неизвестно за что.

Если же насилу влезал, толкаясь о притолоки, выписывая мыслете, значит, был в отличном расположении духа. Вытаскивал баранки, угощал орехами и поил Сеньку вод-

кой. Целую ночь пел песни, а чтоб не слышать было и чтоб не серчала Марфа, ложился на кровати лицом в армяк, забирал армяк в зубы и пел глухим, задвленным голосом: «Ма-атушки, го-о-лу-у-буш-ки-и...» — а Сенька спал, положив голову на стол возле бутылки.

Как-то Мирон пропал. Сенька слонялся по кухне, смотря, как умел, за мышами, и Марфа его подкармливала. Все-таки половина мышей подохла и разбежалась.

Под конец Сенька лег на кровать, уткнулся в тряпье и стал тянуть однообразно и тоскливо:

— Па-па-ня-а-а-а... — однообразно, тоскливо, как голодный волчонок на околице.

Чернеют занесенные снегом избы; ни огонька, ни собачьего лая. И оттого, что в пустынном воздухе мертво, еще более одиноко, заброшенно тянет, подняв усталую мордочку, брошенный волчонок:

— Па-па-ня-а-а-а!.. ы-ы-ы...

Явился Мирон через неделю. Сенькаглянул и завыл пуще: Мирон был в опорках вместо сапог, а вместо одежды лохмотья, и под глазами густые фонари.

— Ну, чего воешь, паршивый!.. — и ударил, но вяло, как будто устал.

Что бы ни случилось в полуподвале, какие ни приходили события, казалось, все укладывается в определенный закономерный порядок, — так и следует тому быть. И продолжают жить по-прежнему, не останавливаясь, не оглядываясь, изо дня в день.

Но случилось событие, которое легло рубежом, которое переломило жизнь надвое — до и после, точно потемнело с тех пор. И все было просто.

Отворилась дверь, просунулся с оттопырившейся сумкой и синим кантом почтальон и сказал строго:

— Марфе Ивановне Козыревой.

И, нащупав ногой, спустился по ступеням, — со свету темно в полуподвале.

— А? Кого надо?

— Марфе Ивановне Козыревой.

— Я самая.

— Чего же молчите? Одна вы, что ль, возиться тут с вами.

Подавал письмо и сердито ушел.

Повертела письмо Марфа Ивановна, по-

удивлялась, откуда бы это — не получала ни от кого писем, — сунула под подушку и опять продолжала возиться с потным лицом около пышущей плиты.

Только когда проснулся к вечеру Антон Спиридоныч, надел железные очки, долго смотрел и сказал хрипло:

— Из тюрьмы.

Марфа обомлела, а он начал читать:

«Мамаша, судьба моя конченная, только вы не убивайтесь, потому, снявши голову, по волосам не плачут. Хотел вас повидать, да не дают свидания. Скоро меня отсюда увезут, и вы себя даром не убивайте. Меня... (несколько строк заляпано черной краской)... просил прокурора. Прощайте, мамаша. И до последнего вздыхания буду об вас помнить. Любящий сын Алексей».

Марфа обезумела и кинулась к господам. Там сказали, что ничего сделать нельзя. Два раза ее отпускали, и она бегала по всем учреждениям, где могла. Но всюду было чуждо, холодно и равнодушно. Никто ничего не знал,

одни посылали к другим, и все явно старались сбыть ее с рук с ее горем, слезами и приставаниями, — у всех было свое.

Точно потемнело в полуподвале.

— Понимаем... за нас за бездомных... — говорил Алексей Иваныч.

— Конечно, хочь бы мышом дозволяли заниматься, все-таки не так скучно, занятие. Да и, сказать, рукомесло, за плечьми не носить — с завода выгнали, мышь прокормит. Это как сказать...

— Жалко, — прохрипел Антон Спиридоныч. — Конечно, противозаконно, нечего говорить, а жалко. И то сказать, сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии, не всякому понравится. Д-да, для других себя не жалел...

И не потому, что Марфа была на положении полухозяйки, а болело у всех где-то в глубине. Каким-то близким и родным чуялся этот парень, постоянно мучимый беспокойством и торопливостью. Уже не придет, не сбросит торопливо потертое пальто и засаленный картуз, не станет, обжигаясь, хлебать из пегой чашки, совсем не отдавая себе отчета, что делает, думая о своем, не принесет жи-

вых, вчуже странно волнующих рассказов с воли.

С тех пор не узнать Марфы. Уже забыла и думать о городских, дворниках, приказчиках из мясной, Стала худеть и сохнуть и, как черничка, всегда в черном. По-прежнему торопливо возится у жаркой плиты с бледным и потным лицом, отдаст горничной блюдо, урвется и торопливо и горько, сердце разрывающими слезами поплачет, а там опять кипящие кастрюли, дымящиеся горячим маслом обжигающие руки сковороды. И опять в передышку поплачет.

И не к кому пойти, некому обнадежить, сказать слово утешения — у всякого свое. Да и не ждет и не думает об этом Марфа.

Но когда за занавеской не бубнит пьяный голос: «Стань на одну ногу... как раки ходють», — Марфа, подняв заплаканные глаза, неизменно встречает радостно сияющие глаза Груни. И хотя нет такого утешения и не высушить материнских слез, все же с благодарностью глядит Марфа на Груню, на ее вздернутый носик, на круглое чудное лицо, цвета дубленой кожи, освещенное сиянием чудес-

НЫХ глаз.

И ничего особенного она не скажет, скажет лишь:

— Марфа Ивановна, родная вы моя... ну, куда же денешься... Господь оглянется, его воля... И не ждешь, ан счастье обернется, да ласка, да удача... Так-то и мой Алексей Иваныч: «Убью да убью», — а оглянешься, а он любит вот до чего...

И поплачут обе.

И не в словах дело, не в том, что говорит Груня, а в убежденности, крепком ожидании, которое лучится от ее слов и от глаз, от всей ее фигуры.

День за днем проходит, а для Марфы как будто все тот же страшный день, когда отворил дверь почтальон и, щупая ногой ступеньку, сказал громко и начальнически:

— Марфа Ивановна Козырева здесь?

Днем перестали отпускать господа Марфу, — нельзя же без обеда сидеть, а вечером все учреждения закрыты, да и отовсюду стали ее гнать — надоела, а бросить место не в силах — все здесь напоминает Лешеньку, и здесь она в последний раз его видела. Как жи-

вой, он стоит перед ней, торопливо сбрасывает пальто, картуз и торопливо, оглядываясь и не зная, куда деть, говорит, а щеки — землистые, ввалились, и нос востренький. И плачет Марфа Ивановна.

Одно утешение осталось у Марфы. Уберется с обедом, с посудой и потихоньку урвется из дома. Сядет на трамвай и проедет к тюрьме. А тюрьма стоит, вся в огнях, и ослепительно все заливают кругом электрические фонари.

Кругом спешит публика, звонят трамвайные звонки, несутся лихачи, спотыкаясь спешат извозчичьи лошаденки, а Марфа стоит одна, зажимая в комочек свернутый платок, и плачет, поминутно утираясь, и среди бесчисленных окон выискивает одно дорогое окно. Их множество, и все они одинаково освещены, и ни в одном никого не видно.

Она выберет какое-нибудь одно и стоит, и ждет, и утирает неудержимые слезы.

В городе много тюрем, но ей кажется, что именно в этой тюрьме сын. В тюрьме множество окон, но ей кажется, — именно за этим окном сын. Долго стоит и смотрит, потом уез-

жает.

А дома достанет измятый, протертый по складкам листок, накрест промазанный чем-то желтым, и просит:

— Антон Спиридоныч, родной мой, почитай ты мне.

— Да и читать-то там нечего.

Все-таки надевает железные очки, откашляется и хрипло начинает:

— «Мамаша, судьба моя конченная... Любящий сын *Алексей*».

Он снимает очки, а она глотает слезы и тщательно прячет письмо, — больше писем не приходило. И кажется ей прежняя жизнь такой, что счастливее и светлей не бывает и в хоромах.

Глаша, усталая, спала крепко и не могла проснуться, а по крыше кто-то гремел железными листами, не переставая.

«Господи, чтой-то?! Али Антону Спиридонычу нужно пиво?» — думала она и знала, что думает во сне, — но железными листами так нестерпимо гремели, что необходимо было проснуться, а проснуться не могла, стала дрожать в холодном поту и просить: «Будет...

ну, будет...»

На крыше, не уставая, гремели железом.

Она собрала все силы, перестала дышать и... поднялась на локте, дико глядя широко открытыми глазами: возле горой лежал Антон Спиридоныч, неподвижной страшной горой и, не переставая, лопотал: «Лла-ла-лла-лла...»

Дядя Федор клал на полу возле кровати поклоны, глядя на красный глазок лампы:

— ...блудущих, путешествующих и всех православных христиан спаси и помилуй!

— Господи-и!! — пронзительно закричала Глаша.

Дядя Федор положил последний поклон, поднялся и заглянул в лицо Антону Спиридонычу.

— Эх, сердешный!.. Язык отнялся... Надоть воды...

Глаша, не переставая, отчаянно кричала пронзительным голосом.

— Да ты что раздираешься... — закричала Марфа, — господ побудишь...

Но глянула на Антона Спиридоныча и часто закрестилась.

— Свят... свят... свят...

В потолок равнодушно глядел из-под полуспущенного неподвижного века остановившийся глаз; другой глаз беспокойно и торопливо моргал и все скашивался, ища Глашу.

А она кричала:

— Господи!.. Ну, куда я теперь с тобой, с Иродом?.. Не написал духовного... Побираться, что ли?.. Да что я за несчастная!..

Она выла, а на Антона Спиридоныча лили воду, растирали, но все так же равнодушно из-под мертвого века глядел неподвижный глаз, а другой торопливо, беспокойно моргал, и по небритой, щетинистой с проседью щеке ползла, цепляясь, тяжелая слеза, и стояло:

— ...Ллла-лла-лла-ллл...

К концу недели Антону Спиридонычу стало лучше. С помощью Глаши он мог перейти до стола в кухне, все так же глядя перед собой неподвижно равнодушным глазом, волоча ногу, и левая рука висела, как плеть.

Теперь Глаша с утра до вечера бегала на поденную, а когда ворочалась вечером, только и слышался ее крикливый голос:

— Идол толстый! Корми его... Сам и ходить

не может, а жрет в три утробы... Жизнь мою заел... Не умел сдохнуть вовремя.

А он жалобно оправдывается:

— ...Лла-лла-лла-ллл...

За кухонным столом, покрытым штопаной скатертью, как и бывало, чаевничают со своим чаем-сахаром.

Прихлебывает Мирон с горячего блюда, и нос у него красный. Тут же, шмыгая отцовскими сапогами, загоняет Сенька мышей в ящик, — и всего-то их с десяток. Только и осталось у Мирона — что Сенька да горсточка мышей.

Привела Глаша и Антона Спиридоныча. Он тащит ногу, рука висит, глаз мертвенно неподвижен, а другой, живой, любовно ощупывает всех за столом, и трудный, неслушающийся язык ласково и настойчиво лопочет:

— ...Ллл-лла-лла-ллл...

— Ну, садись, толстопузый Ирод!.. И когда только околеешь, окаянный, нет на тебе износу...

По обыкновению чашку за чашкой терпеливо пьет без сахара, отирая взмокшее лицо, дядя Федор, как бы говоря всем своим видом:

«Ну-к, что ж, ничего... ничего... почаевничаем, милые... всяк злак на потребу». И дочка возле. Она теперь часто наведывается, но без шляпы, в платочке, испитая, и с желтыми пятнами. Уже не приезжает на автомобиле, а когда приходит, просит, чтобы другие не слышали:

— Папаша, вы уж достаньте мне еще чего-нибудь из сундука, а то обносились до того...

Дядя Федор почешет в затылке.

— Эх, доченька!

И лезет в заветный сундук, а в сундуке-то на доньшке, не прибавляется, а убавляется, — все повыудила дочка. И хоть по привычке в нитку тянется дядя Федор, понимает — не к свадьбе дело.

С ласковыми, тихо сияющими голубыми глазами пьет чай Груня почернелым от выбитых зубов ртом, и одно опухшее веко у нее вывернуто.

Только Алексея Иваныча нет, пьянствует и редко заглядывает домой, а завернет — страшно становится в полуподвале.

Тихонько прихлебывают горяченькую во-

дицу; изредка перекидываются словом, как будто сердцем все пережито и для слов ничего не осталось.

— Ухи бычьи нонче как подорожали!

— Страсть...

— Варишь-варишь — и нет ништо, как тряпки...

Сенька тихонько сидит в углу на каменном полу, и молча, запустив палец, ковыряет дыру надетого отцовского сапога; мальчик умеет молчать, — его голоса никогда не слышно.

С потолка глухо, как дальний гул по мостовой, падает, — жиличка на фортепиане обучает учениц, и этот глухой, тяжелый, неустанный гул наполняет кухню и тупички, замирая в толстых стенах.

— Под музыку, — говорит Мирон, громко схлебывая с блюда.

Опять молча тянут, обжигаясь губами, и без конца подставляют под самоварный кран разных мастей чашки, но все до одной пузатые.

И опять кто-нибудь скажет:

— Сказывают, дом об двадцати этажов су-

протис нас будут строить.

— Как же на него лазить?

— Известно, на машине летать будут.

— Так господа летать будут, а прислуга?

Опять молчаливое схлебыванье. А Мирон подумает, вспомнит, допьет чашку и, пока набегаает из крана, скажет:

— Не, острог будут строить, для острожного помещения.

Мирон принимается за чашку, а уж из всех углов поползла темная, всегда таящаяся, неумирающая тоска.

— Господи, хоть бы одним глазком на него глянуть. Где он теперь, родимый?

И всхлипнет, и утрет краем фартука налившиеся слезами глаза. Не узнать Марфы Ивановны — худенькая, сухонькая стала.

И всем близка ее боль.

— Господь терпел и нам велел, — говорит Мирон, наливая девятую чашку: уже пот давно, как бисером, осыпал красный нос.

— Куда же терпеть-то, — вскипает Глаша, — ну, я терпела, терпела, вот дотерпелась себе на шею эту требуху, корми теперь его... Докуда же терпеть-то?!

— Жалуются люди, а разве угадаешь. Вот бы на свет божий не глядел, а вот солнышко выглянет, и-и... ласковое!..

И поглядела Груня на всех голубыми глазами, застенчиво улыбаясь.

— А почему такое, Груняха, у тебя морда подбитая? — спросил Мирон и пошевелил бровями, чтобы не попал пот в глаза.

Дядя Федор вытер зажатым рукавом лицо и, закинув руку, шею и затылок:

— Так-то пустынный один жил в лесу... обнаковенно спасался. Да, святой жизни. Ну, хорошо! Прознал бес про это дело. Вкинулось в одну душу — искусить.

— Эта их самая занятая, — подтвердил Мирон.

— Да ну ты с бесами — и без них тошно, — сказала Марфа Ивановна, вытащила истрепанный, и слов не разберешь, листок и глядела глазами, в которых слезы:

— Лешенька!..

— Тятка, исть хочу, — сказал Сенька, стоя по колено в отцовских сапогах.

Над городом глухо шумело, должно быть, готовилось что-то, только никто не знал в

подвале — что.[8]

Примечания

Для народа!.. (франц.)

[^^^]

Впервые, с подзаголовком «Из книги «Жизнь моя и моих предков. Записки Ципляева», — журн. «Современный мир», 1909, кн. 5.

Это произведение носит автобиографический характер: в нем Серафимович описывает свое пребывание в ссылке на Севере, сначала в г. Мезени, а затем в Пинеге, с 1887 по 1890 год.

«Был выслан на Север в административном порядке — за составление прокламации по поводу неудачного покушения на Александра Третьего.

В повести вывел живых людей — товарищей по ссылке, с которыми жил в коммуне. Под кличкой «Патриций» обрисовал я студента Петербургского университета Шипицина. «Француз» был студентом Московской Петровско-Разумовской с.-х. академии (нынешней Тимирязевки). Акушерку звали Анна Семеновна. Она умерла в Сибири приблизительно в 1928 году. Под фамилией «Основа» выведен в рассказе мой пожизненный друг Петр Анисимович Мосеенок (Моисеенко), ор-

ганизатор исторической Морозовской стачки орехово-зуюевских ткачей. Жену его — тоже ткачиху — звали Екатериной...

В повести нет ничего сочиненного. Мною почти фотографически дан быт ссылки 80-х годов. Выводил я живые портреты. Сам я в ту пору был таким, как в повести, — рыхлым и несколько сентиментальным начинающим автором» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. IV, М., ГИХЛ, 1947, стр. 478).

[^^^]

Впервые — «Новый журнал для всех», 1910, № 17, март.

Рассказ автобиографичен. В нем отражены впечатления и переживания автора, прежде всего относящиеся к его первому приезде в Петербург, но, по заключению исследователей его творчества, и некоторые факты и наблюдения, сделанные автором в более поздние посещения им и Невского проспекта, и петербургских гостиниц. Сам автор время написания рассказа предположительно относит к 1904 году, а то, что рассказ не сразу попал к читателям, объясняет так: «Какой интерес и какой смысл имело для буржуазных редакторов самих себя высечь моим рассказом о том, как преступно равнодушен был режим к дореволюционному писателю, как держали его в вечном страхе за завтрашний день. Никто не хотел печатать. Рассказ долго лежал у меня в архиве».

4

Я вас приглашаю (иск. франц. Je vous engage).

[^^^]

5

Высший свет (иск. франц. beau monde).

[^^^]

Впервые — газ. «Речь», 1913, 17 сентября — «Дьявол», «Наваждение», «Украинцы» (под заглавием «Про белого бычка»); 22 сентября — «Золотая полоска»; 1 октября — «Раб»; «Ночлег» — Собр. соч., т. V, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1913.

В основу произведения легли впечатления писателя от путешествия по Кавказу на мотоцикле. 24 июля А. С. Серафимович выехал из Новороссийска в сторону Геленджика и, сделав по побережью Черного моря более тысячи километров (Геленджик, Туапсе, Сочи, Гагра, Гудауты, Красная Поляна, Абхазия), 18 августа вернулся в Новороссийск.

[^^^]

Первая публикация не установлена. Вошло в Собр. соч., т. V, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1913.

[^^^]

Впервые, под заглавием «В мышинном царстве» — журн. «Русское богатство», 1913, кн. 4, апрель.

«Типы — сборные. Кое-что написано по рассказам, кое-что сам наблюдал, — говорил писатель об этом произведении. — До Октября в городах жило много людей с неопределенной профессией, вроде моего «фабриканта мышей». Большею частью — это были бедняки, боровшиеся всю жизнь с нуждой. Жили они в подвалах, в темных и сырых углах. У них был узкий мещанский кругозор: перед богатыми и сильными они готовы были ползать на коленях. Жили они в тусклом, как их подвал, мире мелких дрызг и сплетен, полные суеверий, измученные заботами о хлебе насущном. Это была мышинная возня, подлинное мышинное царство... После революции такие элементы постепенно исчезли. Лучшие из них, не испорченные окончательно старым режимом, перестроились и взялись за честную и нужную работу. Часть же пришлось принудительно приучить к труду и по-

лезной деятельности» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 432–434).

[^^^]